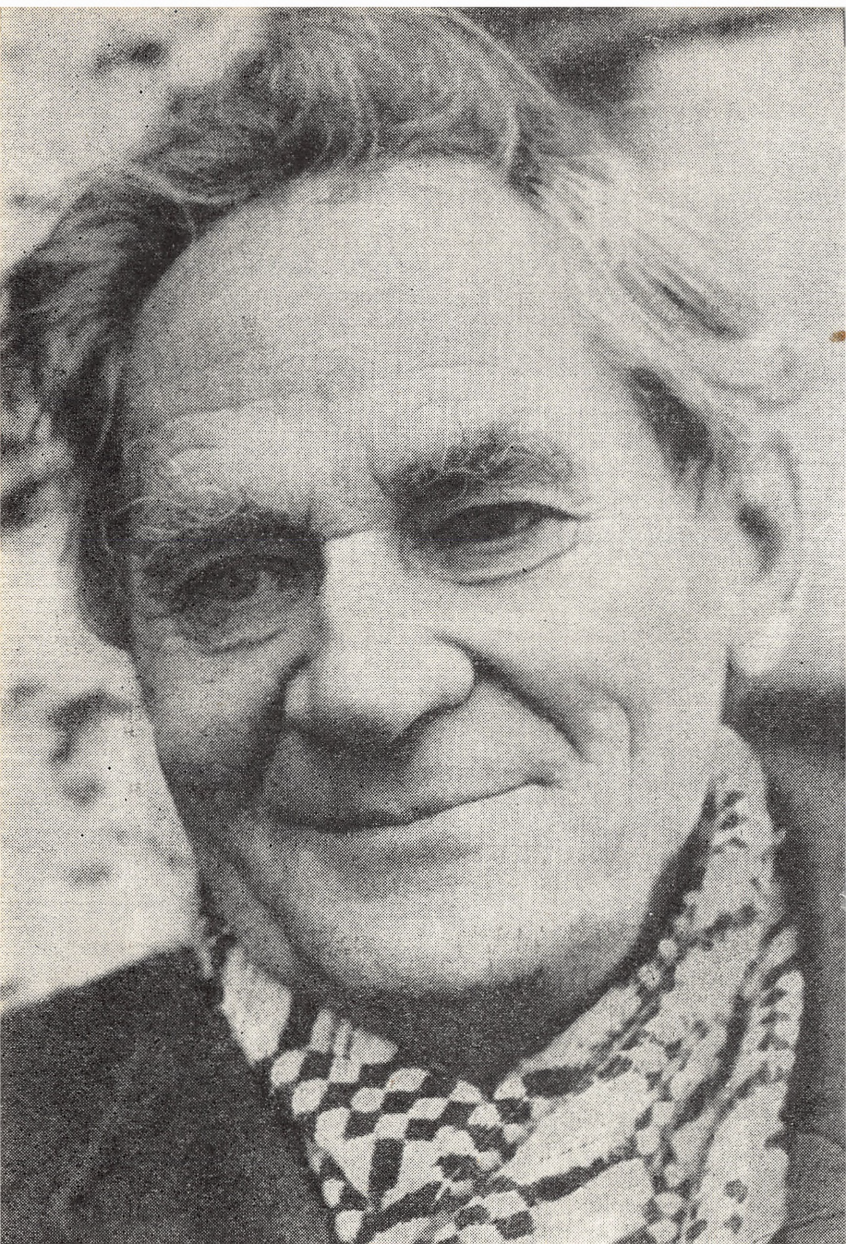
Борис
Чичибабин

Мои шестидесятые

Борис
ЧИЧИБАБИН

Мои шестидесятые



Борис
ЧИЧИБАБИН

Мои шестидесятые

Стихотворения

КИЕВ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«ДНІПРО»
1990

ББК 84Р7-5
Ч72

Жизненный и творческий путь поэта
сложился очень нелегко:
незаконный арест в послевоенные годы,
затем — реабилитация,
выход четырех самобытных сборников,
за которые автор был принят
в Союз писателей.
Но — снова несправедливые обвинения
и почти двадцатилетнее молчание...
Ныне Борис Чичибабин восстановлен
в творческом союзе литераторов,
широко печатается в периодике.
В нашем издании представлены
его лучшие произведения 60—70-х годов.

Предисловие автора

Редактор *Н. В. Мельник*

Ч $\frac{4702010202—152}{М205(04)—90}$ 152.90

ISBN 5-308-00690-3

ВЫБРАЛ САМ

Я родился в 1923 году в Кременчуге, на Украине. Подписываю свои стихи фамилией Чичибабин — это фамилия моей матери. Она находится в родстве со знаменитым химиком Чичибабиным — это мой двоюродный дедушка, но я его никогда в жизни не видел. И никогда в жизни не видел своего отца — моя фамилия по паспорту Полушин, фамилия усыновившего меня отчима. Он был военнослужащим, поэтому семья часто меняла города, я в детстве жил в Кировограде, потом очень долго на Харьковщине. Окончил школу в 1940 году в Чугуеве, а в 1941-м началась война. В 1942-м был призван, служил в авиационных частях Закавказского фронта, в окопах не сидел, врага перед собой не видел, не стрелял. Все военные годы служил. Участником войны не считаюсь.

После демобилизации в июне 1945-го поступил в Харьковский университет на филологический факультет. Я сдавал экзамены за два курса — хотел через год перейти на третий курс, но мне не удалось кончить ни одного: в июне 1946 года был арестован. Когда меня спрашивают: за что? — я отвечаю: ни за что, как многие в те времена. Вероятно, кто-то передал кому-то мои стихи, в которых, возможно, было что-то, хотя по тем временам особенной крамолы быть не могло. Разговоры, болтовня, стихи... «За антисоветскую агитацию», как было сказано в приговоре Особого совещания, меня осудили на пять лет, по тем временам срок смехотворный. Это лишний раз подчеркивает, что арестован я был воистину ни за что. Все пять лет полностью отсидел — Вятлаг —

и вышел еще при жизни Сталина, в 1951-м. И, пожалуй даже, самые тяжелые годы моей жизни были не лагерные, не тюремные, а эти вот несколько лет по выходе на волю, когда... Вы знаете, как тогда смотрели на людей, которые были осуждены за политическое преступление, антисоветскую агитацию. Конечно, мне нельзя было и думать о продолжении учебы, ни на какую более или менее сносную работу нельзя было устроиться, да и специальности у меня никакой не было.

Очень долго так тянулось: Харьков, провинция. И характер у меня замкнутый, за себя хлопотать не умею. После смерти Сталина, когда пахнуло хрущевской оттепелью, если бы это была Москва, может быть, мне удалось бы раньше издать свои первые книги. Мои друзья передали стихи в Москву, и в 1963 году вышла моя первая книжка. Но уж очень поздно она вышла, когда оттепель шла на спад. Именно поэтому я не рад ни московскому сборнику, ни тем трем, которые выходили потом в Харькове, потому что я не мог туда дать своих лучших стихотворений, а часть тех, что были изданы, вышли изуродованными, искалеченными.

Одна из рекомендаций в Союз писателей была С. Я. Маршака. Мне вообще везло на хороших людей. Последние годы жизни Маршака я часто навещал его в Москве. Не умею об этом говорить. Может быть, придет когда-нибудь время, и я возьмусь за мемуары, хотя очень страшно их писать, потому что все, что касается житейской, бытовой стороны — то, чем должна быть сильна проза,— мне совершенно не дано. Так вот, в 1966 году меня приняли в Союз писателей СССР.

Последняя книжка вышла в 1968 году, и с тех пор — полное молчание, полное забвение. Меня не печатали, я был изолирован от широкого круга чита-

телей, которому были адресованы мои стихи. Но читатели-друзья были у меня всегда. И в Харькове, где я живу постоянно, и в других городах. Хотя бы самых дорогих, самых близких, без кого не представляю своей жизни, я просто обязан назвать: Леонид Ефимович Пинский, Александр Шаров, Александр Галич — всех их уже нет в живых.

Так вот, не печатался, причем, очевидно, и по своей воле. Сказать «я не захотел больше врать» — значит,— врал до этого? Нет, я не врал. Но не мог уже согласиться, чтобы книжки мои выходили в таком виде, в каком они выходили прежде. Хотел говорить именно то, что хочу говорить, а это было невозможно. Надо было без конца уступать, а я уже не мог этого делать. Пришла переоценка ценностей, наступил кризис, который я перенес очень тяжело, думал о самоубийстве, боялся сойти с ума. В это время написано стихотворение «Сними с меня усталость, матерь Смерть». Меня спасла Лиля. Не могу произнести «моя жена», не люблю почему-то слова «жена»,— любимая, друг, первый читатель моих стихов, единственный судья и подсказчик. С тех пор мы не расстаемся. И с тех пор я перестал думать о печатании, стал писать, смею думать, лучшие мои стихотворения совершенно свободно, заранее зная, что они никогда не будут опубликованы, перестал ходить в Союз писателей. Так что исключение меня из Союза в 1973 году, в конце концов, даже справедливо — я давно потерял с ним всякую связь.

А конкретным поводом для исключения были стихи о Твардовском, стихи «отъезжающим», «С Украиной в крови я живу на земле Украины...». То я — украинский националист, то я — сионист... Так и не разобрались, кто я на самом деле.

До недавнего времени, с тех пор, как кончилась моя литературная жизнь, работал в трамвайно-троллей-

бусном управлении. Одно время руководил литстудией в Харькове. Не знаю, каким чудом она держалась — у меня нет никакого таланта к разговору, таланта литературного критика, наставника. Воспринимаю стихи как читатель, как человек, безумно, больше всего на свете любящий стихи. Но говорить, почему мне это нравится, а это не нравится, разбирать так, как разбирают другие — по строчкам, не умею и думаю, что так и нельзя разбирать стихи. Ведь в стихах даже наших любимых поэтов,— самых великих, самых любимых,— в них, наверное, очень много огрехов (кроме Пушкина, у которого каждое слово на месте и все совершенно; Ахматовой, у которой тоже все слова — единственные, незаменимые). У остальных, «нормальных» поэтов — там всего хватает. Хорошо сказал Блок, что стихи держатся на каких-то отдельных словах, как на звездах. Если стихотворение мне нравится, я не замечаю в нем недостатков или даже эти недостатки мне тоже приятны, любимы мной, потому что в целом все получается хорошо. Поэтому, видимо, именно моя влюбленность в стихи и объединяла вокруг меня ребят... Но вскоре студию прикрыли. Я лишился всяких источников существования, мне стало нечем жить, и я вспомнил... В те самые страшные годы после лагеря я кончил курсы бухгалтеров, больше мне ничего было нельзя. Одно время работал рабочим сцены в Харьковском театре русской драмы. Когда вышли мои книжки, думал, что смогу прожить литзаработком...

Так вот, один человек, начальник отдела снабжения в трамвайно-троллейбусном парке, который знал мои стихи (я выступал в Харькове на вечерах), предложил мне пойти к нему работать. Пошел туда, приземлился... Числился мастером, кладовщиком, рабочим склада. Долго не решался уйти, да и они меня не отпускали: был нужным им человеком — писал отчеты, де-

лал заявки, деловые письма писал... Не умею отказывать, мне очень трудно сказать «нет».

Живу я замкнуто, но это не какое-то несчастье. Не могу сказать обо всех поэтах — мой бог Пушкин был очень общительным человеком,— но такому, как я, нужны именно уединение и замкнутость. Меня суета, когда приезжаю в столицу, попадаю в круговорот, почти каждый вечер читаю стихи, просто подавляет.

Жил, спорил, радовался людям и думал, что жизнь так и пройдет, и кончится. Человек независимый, я выбрал свою судьбу сам, свыкся с ней. Свое дело сделал — написал стихи, а дальше...

И вдруг — перестройка, гласность. Меня стали публиковать, восстановили в СП (с сохранением стажа). На собрании разное было, кто-то произнес: «Что мы тут говорим — жизнь человека прошла».

У меня с 1987 года лежит рукопись в «Советском писателе», кажется, ее включили в план на 1990 год. И вот сборник в «Дніпрі» — тоже дело рук моих друзей. Ужасно боюсь этой работы. Я уже немолодой, привык, что пишу для какого-то узкого круга друзей, единомышленников. Это круг людей, которые меня знали и мнением которых я дорожил больше всего на свете...

Как и все мы, не мог и мечтать, что придут такие времена, когда мы будем читать Платонова, Гроссмана! Я был не готов к этому времени ни морально, ни нравственно.

Вообще считаю, что мои лучшие стихи — о главном, о вечном. Нравственные, философские вопросы добра и зла, красоты, совершенства — это меня больше занимает. Но время, в которое мы с вами живем, не позволяет думать о вечности. Живешь публикациями, понимаешь, что все это суета и нужно жить вечным, но как же можно уйти от того, чем живет весь народ, вся страна? У меня уходит почва из-под ног, я пока

что не найду себе места в этом времени. И я не знаю, если мне Бог даст еще написать какие-то стихи — какие они будут...

Иногда в стихах я называю себя поэтом, когда мне это необходимо, чтобы выразить какую-то мысль. Но только в стихах и только когда это нужно. «Ни дня без строчки» — не мой девиз. Не знаю, как пишут другие. Для меня процесс писания — это тайна. Я люблю говорить, что Бог поэтов — не церковный Бог. Не я пишу стихи — мне кто-то их диктует. Работе моей не могли помешать ни служба в трамвайно-троллейбусном управлении, ни какие-то неприятности. Если стих пойдет — он пойдет, если его нет — его ничто не заставит быть. Стихи — это чудо: что бы ни делалось вокруг тебя,— ничего не существует. Ты живешь еще не написанным, но уже звучащим в тебе стихотворением. Это состояние — великое счастье. Потом, после меня, останется очень мало стихотворений...

Хоть обстоятельства отучали заниматься литературным делом, отучить быть поэтом — невозможно. Это так же, как со свободой. Если есть у человека внутренняя свобода — он будет свободен и в тюремной камере, где пять шагов в длину и шаг в ширину. Он будет свободен, потому что он внутренне свободен, и эту внутреннюю свободу никто у него не отберет — никакие лагеря, никакие тюрьмы, никакие преследования.

И в этом смысле идеал — Пушкин. Для меня нет более любимого человека, живой личности, живой души. Кто-то очень хорошо сказал, называя своих любимых композиторов — Бах, Бетховен, Вагнер. А Моцарт? — спросили его. О, Моцарт — это Бог! Вот так я мог бы сказать о Пушкине. Перечень любимых поэтов, если он будет открываться именем Пушкина,— для меня это кощунство. Это унизительно для Пушкина, потому что Пушкин — вне всяких списков,

он совершенно отдельно. Это очень трудно объяснить. С одной стороны, когда мы читаем наших любимых поэтов — Тютчева, Лермонтова,— у них есть почти пушкинские строки, вплоть до того, что я иногда над какой-нибудь прекрасной строкой задумываюсь: неужели это не Пушкин? И в то же время — колоссальная разница, как между Моцартом и Бетховеном. И тот, и другой — гении, но в одном случае это уже нечто божественное. Потому что такой гармонии... Невозможно человеку написать: «Я вас любил: любовь еще, быть может...»

Возведение простых жизненных фактов в какую-то необыкновенную красоту, свет — это мог только Пушкин из всех русских поэтов, а может быть, и из всех мировых поэтов. Я, к сожалению, кроме русского, не знаю других языков, но убежден, что и в мировой поэзии он — явление уникальное по гармонии, совершенству. От всех он отличается и необыкновенной добротой — не в расхожем, житейском, практическом смысле, а именно божественной добротой, космической добротой.

Чтобы прийти к Пушкину, его мудрости, его гармонии, к пониманию его совершенства, нужно прожить большую жизнь.

Так невероятно трудно быть тем, что люди называют поэтом, так невероятно трудно писать стихи... И правда, как Ахматова — нельзя. А что говорить о Пушкине, о Тютчеве, а что говорить о том, что мы живем после Блока, после Цветаевой, Пастернака, Мандельштама? Но мы не бросаем писать стихи. Есть какая-то отчаянная, безнадежная дерзость: как же — после них — все-таки писать стихи? Значит, ты смеешь думать, что скажешь то, что они не говорили? Смеешь и можешь сказать, дерзаешь сказать?

Для меня всегда было великое чудо, великое счастье, что мне это позволено. Не знаю, напишу ли я

еще хоть одну строчку, которой буду доволен, и рад, и счастлив. Может быть, то, что от меня сейчас ушли стихи,— это совершенно закономерно и естественно? Может быть, в каком-то возрасте нужно перестать писать стихи, как перестать быть спортсменом, перестать танцевать на сцене Большого театра? Но для меня было бы грустно, если бы я совсем перестал их писать...

Когда-то очень давно, в конце 50-х годов, я еще исповедовал то, что поэзия нас спасет. Тогда были вечера поэзии в Лужниках с конной милицией.

Дело в том, что это иллюзия. Дело в том, что поэзию никогда не будет любить такое большое количество народа — это все временное явление. Поэтому для меня не страшно, что кого-то знают мало. Его знают те, для кого он писал. Я не думаю, что тем, кто аплодирует мне на моих выступлениях, нужна поэзия. Поэзия нужна тем, кто без нее не может жить. Таких людей всегда будет очень и очень мало — во все времена. И сейчас я думаю: слава богу, что это так. Было бы ужасно, если бы поэзию любили, как футбол или песни Аллы Пугачевой. Поэзию не должны любить многие люди, это было бы обидно и неестественно. Я глубоко убежден в том, что людей, по-настоящему любящих поэзию, гораздо меньше, чем людей, пишущих стихи и издающих книжки... Люди, которым нужны были мои стихи, знали меня и в прошлые времена. Я не могу обижаться на жизнь. И не думаю: вот выйдет моя книжка — и сразу что-то изменится, меня узнают, примут и полюбят тысячи людей — нет, не будет такого чуда. Я, в моем возрасте, все об этом знаю, смею вас уверить. В этом смысле ничего не изменится.

Читатель стиха всегда есть и всегда будет.

Борис ЧИЧИБАБИН

Стихотворения

АВТОБИОГРАФИЯ

Поэты были
большие, лучшие.
Одних — убили,
других — замучили.

Их стих богатый,
во взорах молнии.
А я — бухгалтер,
чтоб вы запомнили.

В гурьбе горластых —
на бой, на исповедь,—
мой алый галстук
пылал неистово.

Побит, залатан,
шального норова,
служил солдатом,
работал здорово.

Тружусь послушно,
не лезу в графы я.
Тюрьма да служба —
вся биография.

И стало тошно —
стара история —
страдать за то, что
страды не стоило.

Когда томятся
рабы под стражею,
какой кто нации,
у них не спрашиваю.

Сам с той же свитой
в безбожном гулеве
брожу, от Свифта
сбежавший Гулливер.

Идут на убыль
перчинки юмора,
смеются губы,
а сердце умерло...

Пиша отчеты,
рифмуя впроголодь,
какого черта
читать вам проповедь?

Люблю веселых
да песни пестую,
типичный олух
царя небесного.

За счастье, люди!
Поднимем — сбудется.
За всех, кто любит!
За всех, кто трудится!

* *
*

Поэт — что малое дитя.
Он верит женщинам и соснам,
и стих, написанный шутя,
как жизнь, священ и неосознан.

То громыхает, как пророк,
а то дурачится, как клоун,
Бог весть, зачем и для кого он,
пойдет ли будущему впрок.

Как сон, от быта отрешен,
и кто прочтет и чем навеян?
У древней тайны вдохновенья
напрасно спрашивать резон.

Но перед тем как сесть за стол
и прежде чем стихам начаться,
я твердо ведаю, за что
меня не жалует начальство.

Я б не сложил и пары слов,
когда б судьбы мирской горнило
моих висков не опалило,
души моей не потрясло.

* *
*

Кончусь, останусь жив ли,—
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.

Школьные коридоры —
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,
хитрые письмена...
Красные помидоры
кушайте без меня.

КАК Я ВИДЕЛ ЛЕНИНА

Тяжело, когда уходит женщина,
страшно знать, что без вести умру,—
но еще страшней, еще тяжельче
без вины попасть в тюрьму.

Лучше б мне убитому валяться,
чтоб от пули голос мой замолк:
именем Советской власти
комсомольца взяли под замок.

Все равно, вышагивая в камере,
боль и горечь верою круша,
никуда мечты мои не канули,
страхом не унизилась душа.

Я ее не обижал скуленьем,
а когда пришлось погоревать,—
услыхав, пришел товарищ Ленин
и присел на узкую кровать.

До зари сидел со мной, беседовал,
руку клал, доверясь, на плечо...
Все учли опричники, а этого
ни один обидчик не учел.

Злобой пенясь да беря под ноготь,
по себе нас меряли, должно быть,—
ну, а мы учились жить у Ленина,
потому и смотрим вдаль уверенно.

Возвышайтесь, лгите, в душу влазьте,—
я смеюсь, всем козням вопреки:
у меня и у Советской власти —
общие враги.

МАХОРКА

Меняю хлеб на горькую затяжку.
Родимый дым приснился и запах.
И жить легко, и пропадать не тяжко
с курящейся цигаркою в зубах.

Я знал давно, задумчивый и зоркий,
что неспроста, простужен и сердит,
и в корешках, и в листиках махорки
мохнатый дьявол жмется и сидит.

А здесь, среди чахоточного быта,
где номера зловонны и мокры,
все искушенья жизни позабытой
для нас остались в пригоршне махры.

Горсть табаку, газетная полоска...
Какое счастье проще и полней?..
Но вдруг во рту погаснет папироска,
и заскучает воля обо мне.

Один из тех, что «Ну, давай закурим»,
сболтнет, печаль надеждой осквернив,
что у ворот задумавшихся тюрем
нам остаются рады и верны.

А мне и так не жалко и не горько.
Я не хочу нечаянных порук.
Дымись дотла, душа моя — махорка,—
мой дорогой и ядовитый друг.

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОЛГЕ

Отпевший славу Стенькам и Емелькам,
в зените дней пред горем не смирясь,
я видел Волгу с жадностью, но мельком,
давным-давно, единый в жизни раз,—

когда в прозренье болестном и горьком
и никого за участь не коря,
я ждал этапа в пересыльном Горьком,
а путь мой был на север, в лагеря.

Дымя махрою на тюремных нарах,
стихом унылым Бога не гневил,
и Волги лик в плотинах и каналах
на вышний труд мой дух благословил.

Я слушал сны, лицо в ладони спрятав,
меня томила яви нагота,
и снились мне Самара и Саратов,
которым я не снился никогда.

С тех царских нар спуск начинался в ад мой,
смыкался мрак и не было кругов,
и думал узник с грустию невнятной,
что Ленин родом с этих берегов...

Добро, мой дух, что не сошел с поста ты
о той поре над рябью золотой,
а жаль — сгубили Волгу супостаты:
была царицей, стала — сиротой.

ПРОСЬБА

Соловей, птица Божия,
научи меня петь, как ты.
До последней сердечной дрожи я
полюбил земные сады.

Вечера в синеве и золоте.
Голосистых рассветов гам.
С тихим стуком падают желуди
к освеженным росой ногам.

И цветут сады в изобилии,
и на цыпочках ходит грех,
и плывут лебедями лилии
над прозрачной душою рек.

Уголки, что манили из дому,
где с любимой вдвоем бывал,—
каждой книгой моей неизданной
поклониться хотел бы вам.

Вот опять зазвучали и ожили
дорогие черты...
Соловей, птица Божия,
научи меня петь, как ты.

* *
*

О человечество мое!
Позволь бездомному вернуться
домой, в старинное жилье,
где все родное, все свое,
где можно лечь и не проснуться,
позволь глубин твоих коснуться,
в твое глухое бытие
душой смиренной окунуться.

Чтоб где-нибудь, пускай на дне,
познать паденья и победы,
ласкать подруг, давать обеты
и знать, что в новом сонме дней
еще шумней, еще мутней
клубятся страсти, зреют беды.

Там, на метельных площадях,
под золотым универмагом,
живет задумчивый чудак,
знакомый Богу и бродягам.
Проголодавшись и устав,
он бредит сладостной добычей:
к его истерзанным устам
струится розовый, девичий
пылающий и нежный стан.

Он знает: сто ночей подряд
одно и то же будет сниться.
Он — солнца сын, он бурям рад,
он проходимец, он мне брат,

но с тем огнем ему не слиться,
но, грозным вызовом заклят,
он поднимает жаркий взгляд
на человеческие лица.
Проходит ночь. Химера длится,
кружится вечный маскарад.

Там отличен бандит и плут,
они сидят у сытых блюд,
они потеют и блюют,
и говорят одно и то же,
и тушат свет, и строют рожи,
морализируют и лгут,
и до рассвета стонет Блуд,
полураздавленный на ложе.

А между тем, внизу, вдали,
чей дух живет в речах невнятных,
чей облик в саже и в пыли,
в рубцах стыда, в бессонных пятнах?
Не девочки, но и не жены,
не мальчики и не мужи,
проходят толпы отверженных,
их души просятся в ножи.

Дела идут, контора пишет,
кассир получку выдает.
Какой еще ты хочешь пищи,
о тело бедное мое?
За юбилеем юбилей
справляй, сутулься и болей,
но сквозь неправые проклятья,
скитаясь в зелени полей,
тверди, упрямый Галилей:
«А все-таки все люди — братья!..»

Так я, песчинка, я, моллюск,—
как ни карайте, ни корите,—
живу, беспечный, и молюсь
святой и нежной Афродите.
В губах таится добрый смех,
и так я рад, и так я светел,
как будто сам родил их всех,
что только есть на белом свете.

БИТВА

В ночном, горячем, спутанном лесу,
где хмурый хмель, смола и паутина,
вбирая в ноздри беглую красу,
летят самцы на брачный поединок.

И вот, чертя смертельные круги,
хрипя и пенясь чувственною бурей,
рога в рога ударятся враги,
и дрогнет мир, обрызган кровью бурой.

И будет битва, яростью равна,
шатать стволы, гореть в огромных ранах.
И будет ждать, покорная, она,
дрожа душой за одного из равных...

В поэзии, как в свадебном лесу,
но только тех, кто цельностью означен,
земные страсти весело несут
в большую жизнь — к паденьям и удачам.

Ну, вот и я сквозь заросли искусств
несусь по строфам шумным и росистым
на милый зов, на роковой искус —
с великолепным недругом сразиться.

СМУТНОЕ ВРЕМЯ

По деревням ходят деды,
просят медные гроши.
С полуночи лезут шведы,
с юга — шпыни да шиши.

А в колосьях преют зерна,
пахнет кладбищем земля.
Поросли травою черной
беспризорные поля.

На дорогах стынут трупы.
Пропадает богатырь.
В очарованные трубы
трубит матушка Сибирь.

На Литве звенят гитары.
Тула точит топоры.
На Дону живут татары.
На Москве сидят воры.

Льнет к полячке русый рыцарь.
Захмелела голова.
На словах ты мастерица,
вот на деле какова?..

Не кричит ночами петел,
не румянится заря.
Человечий пышный пепел
гости возят за моря...

Знать, с великого похмелья
завязалась канитель:
то ли плаха, то ли келья,
то ли брачная постель.

То ли к завтрему, быть может,
воцарится новый тать...
И никто нам не поможет.
И не надо помогать.

* *
*

Был бы я моложе — не такая б жалость:
не на брачном ложе наша кровь смешалась.

Завтракал ты славой, ужинал бедою,
слёзной и кровавой запивал водою.

«Славу запретите, отнимите кровлю»,—
сказано при Тите пламенем и кровью.

Отлучилось семя от родного лона.
Помутилось племя ветхого Сиона.

Оборвались корни, облетели кроны,—
муки гетто, коль не казни да погромы.

Не с того ли Ротшильд, молодой и лютый,
лихо заворочал золотой валютой?

Застелила вьюга пеленою хрусткой
комиссаров Духа — цвет Коммуны Русской.

Ничего, что нету надо лбами нимбов,—
всех родней поэту те, кто здесь гоним был.

И не в худший день нам под стекло попала
Чаплина с Эйнштейном солнечная пара...

Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
не водись я с грустью золотой и горькой,

не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
не войди я на́век частью безымянной

в русские трясины, в пажити и в реки,—
я б хотел быть сыном матери-еврейки.

* *
*

А! Ты не можешь быть таким, как все,—
вертеться с веком белкой в колесе,

пахать надел, мять молотом металл,
забыв о том, что смолоду летал,

валить леса, где плачет соловей,
да морды бить тому, кто послабей,

да дело знать, да девок обнимать,
да страшным байкам весело внимать?

Не можешь так? Чего ж бы ты хотел?
Низвергнуть плоть? Перелететь предел?

Нет на земле меж городов и сел
того клочка, откуда ты пришел.

Он на звезде, что ты назвал Душой,
а ты везде последний и чужой.

Не хватит в мире горя и тоски,
чтоб ты узнал, как жить не по-людски,

и как роптать, что дал тебе Господь
со дней Адама проклятую плоть.

Мир состоит из женщин и мужчин,
а ты забыл свой мужественный чин.

Им внемлет Бог, как травам среди трав,
а ты меж ними жалок и неправ.

Сокрой свой рай в таилищах лесных
и жизнь отдай за худшего из них.

Пусть светлый дождь
зальет твой темный след.
Все остальное — суета сует.

СЕВЕР

Край родной, лесной, звериный, птичий,
полный красок, светлый от росы,
по тебе немало бродит дичи,
сердце мрет от мощи и красы.

Там — колосья спелые, литые,
тут — лесов колючие рога,
в темных водах зори золотые,
на болотцах пестрые луга.

До людского логова не близко.
Лес под ветром иглами шумит,
не смолкая, смолкою обрызган,
небесами белыми облит.

Затрещит валежник под ногами —
запоет в охотнике азарт...
А про ночи белые на Каме —
никому про то не рассказать.

Хорошо от всех рабочих мытарств,
от жары и пыли городской
в этих чащах досвежа умыться
золотой крестьянскою росой.

Я прошел по Северу веселый,
улыбался людям по пути,
полюбил леса его и села,
тишину осенних паутин.

И когда состарятся ладони,
и когда, утихнув и сомлев,
оплошает сердце молодое,
отгуляют ноги по земле,

помутятся очи — и шабаш им,—
я последним взором подыму
те озера с плескотом лебяжьим
и деревья в дреме и дыму...

На земле не жал я и не сеял,
но душа взойдет на небеса,
к Богу в гости, если Юг и Север
хорошо я людям описал.

ГАРМОНИЯ

Гармония бывает разная.
Еще чуть-чуть пожившим мальчиком
я знал, что знамя наше — красное,
что жизнь добра, а даль заманчива.

С тех пор со мной бывало всякое —
бросало в жаркое и в зябкое,
вражда не отличалась логикой,
да и любовь была не легенькой...

Сказать ли пару слов об органах?
Я тоже был в числе оболганных,
сидел в тюрьме, ишачил в лагере,
по мне глаза девчачьи плакали.

Но, революцией обучен,
смотрел в глаза ей, не мигая,
не усомнился в нашем будущем
и настоящего не хаял.

Пусть будет все светло и зелено.
Ведь, если солнце и за тучами,
его жара в росе рассеяна,
в осанке женщины задумчивой,

в чаду очей, что сердцем знаемы,
в ознобе страсти, в шуме лиственном,
ну, и, конечно, в нашем знамени,
в том самом, ленинском, единственном.

Я знаю в ранах толк и в лакомствах,
и труд, и зори озорные.
О нет, на жизнь не стоит плакаться,
покуда в землю не зарыли.

В беде и в радости ни разу я
доспехи не таскал картонные.
Гармония бывает разная.
Я выстрадал тебя, Гармония.

ГОМЕР

Дело сводилось к осени.
Жар никого не радовал.
Пахло сырами козьими,
луком и виноградом.

Пахло горячей пазухой
ветреной молодайки.
Пахарю пахло засухой.
В море кричали чайки.

Рощи стояли выжжены,
Воздух был жгуч и душен.
Редкий дымок из хижины
напоминал про ужин.

В тонких колосьев лепете,
в шуме деревьев пряных
передвигался слепенький
в сером хитоне странник.

Старенький, еле дышучи,
хату свою покинув,
шел прародитель тысячи
Уитменов и акынов.

Тут и случись неладное.
Вдруг запершило в горле,
скрючило — и сандалии
ноги ему растерли.

Сел, прислонившись к дереву,
губы тоской зашиты,
немощный, сирый,— где ему
в мире искать защиты?

Родина вся, как нищая,
мучилась и говела,
только и было нынче ей
дела, что до Гомера.

Он и на то не сердится,
зная свой меч и заступ,
может, всего лишь семьдесят,
может, уже и за сто.

Помнит ли кто, как с детства он
был в состязаньях первый,
как он дышал и действовал,
а не слагал напевы?

Лишь потерявши зрение,
взявшись больным за лиру,
смел он стихами зрелыми
век свой поведать миру.

Трогая лиру старую
пальцами рук усталых,
пели до сна уста его
для молодых и старых.

Рады или не рады,
гостя впустив под вечер,
спать его виноградари
клали в сарай овечий.

Там этот старый сказочник
тешился миской супа.
Свет его мыслей гаснущих
бился темно и скупо.

Рано вставал — и заново,
бос и от пота солон,
шел до конца до самого
к новым краям и селам.

Щеки, что были смуглыми,
стали от бурь рябыми.
Слушали слуги с мулами,
воины и рабыни.

Были слова не шелковы
для городского слуха,
не соловьями щелкали,
а рокотали глухо.

В них — не обиды личные,
не золотая шалость,—
целой земли величие
ширилось и вмещалось.

...Ну, так обиды побоку!
Духом воспрял художник.
Враз набежало облако,
и запузырил дождик.

* *
*

Пока хоть один безутешен влюбленный,—
не знать до седин мне любви разделенной.

Пока не на всех заготовлен уют,—
пусть ветер и снег мне уснуть не дают.

И голод пока смотрит в хаты недобро,—
пусть будут бока мои — кожа да ребра.

Покуда я молод, пока я в долгу,—
другие пусть могут, а я не могу.

Сегодня, сейчас, в грозовой преисподней,
я горшую часть на спине своей поднял.

До лучших времен в непогоду гоним,
таким я рожден —и не быть мне иным.

В глазах моих боль, но ни мысли про старость.
До смерти, любовь, я с тобой не расстанусь.

Чтоб в каждом дому было чудо и смех,
пусть мне одному будет худо за всех.

* *
*

Любить, влюбиться — вот беда.
Ну да. Но не бедой ли этой
дух человеческий всегда
пронизан, как лучами — лето?

К лучам стремящийся росток
исполнен творческого зуда.
Любимым быть — и то восторг.
Но полюбить — какое чудо!

Какое счастье — полюбить!
И это счастье, может статься,
совсем не в том, чтоб близким быть,
чтоб не забыть и не расстаться.

Когда полюбишь, то, ища
и удивляясь, ты впервые
даешь названия вещам,
творишь открытья мировые...

Дыши, пока уста слиты!
Не уходи, о дивный свет мой!
И что за горе, если ты
любви не вызовешь ответной?

Идя, обманутый, во тьму,
ты все отдашь и все простишь ей
хотя б за музыку одну
родившихся четверостиший.

* *
*

В ресницах твоих — две синих звезды,
а ты смеешься, и ты — со мною.
Белая вьюга в ушах свистит.
Что я скажу про счастье земное?

Взоры твои заблудились во мне,
волосы — ночи весенней темней.
Белая вьюга, как белая птица,
в ноги твои отдыхать садится.

В ресницах твоих — две синих звезды,
голос звучит, как сама поэзия...
Страшно мне говорить Вам «ты»
и целовать в голубом подъезде.

* *
*

Твои глаза светлей и тише
воды осенней, но, соскучась,
я помню волосы: в них дышит
июльской ночи тьма и жгучесть.

Ну, где еще отыщет память
такую грезящую шалость,
в которой так ночное пламя б
с рассветным льдом перемешалось?

Такой останься, мучь и празднуй
свое сиянье над влюбленным,—
зарей несбыточно-прекрасной,
желаньем одухотворенным.

ЯБЛОНЯ

Чем ты пахнешь, яблоня —
золотые волосы?
Дождевыми каплями,
тишиною по лесу,

снегом нерастаянным,
чем-то милым сызмала,
дорогим, нечаянным,
так, что сердце стиснуло,

небесами осени,
тополями в рубище,
теплыми колосьями
на ладони любящей.

ДОЖДИК

День за днем жара такая все —
задыхайся и казнись.
Я и ждать уже закаялся.
Вдруг откуда ни возьмись

с неба сахарными каплями
брызнул, добрый на почин,
на неполитые яблони,
огороды и бахчи.

Разошлась погодка знатная,
спохмела тряхнув мошной,
и заладил суток на двое
теплый, дробный, обложной.

Словно кто его просеивал
и отрушивал с решет.
Наблюдать во всей красе его
было людям хорошо.

Стали дали все позатканы,
и, от счастья просияв,
каждый видел: над посадками —
светлых капель кисея.

Не нарадуюсь на дождик.
Капай, лейся, бормочи!
Хочешь — пей его с ладошек,
хочешь — голову мочи.

Миллион прозрачных радуг,
хмурый праздник озарив,
расцветает между грядок
и пускает пузыри.

Нивы, пастбища, леса ли
стали рады, что мокры,
в теплых лужах заплясали
скоморохи-комары.

Лепестки раскрыло сердце,
вышло солнце на лужок —
и поет, как в дальнем детстве,
милой родины рожок.

БЕТХОВЕН

Как полюбить бы
такого большущего?
На поле битвы
с громами пошучивал.

Графским подлизам
колкости буркая,
весь он — как вызов
снобам и бюргерам.

Буйствуя в стычке,
в споре упорствуя,
жил на водичке
с коркою черствою.

Бешен и чертов,
в комнате заперся,
в гневе исчеркав
четкие записи.

Там по ночам он
в полном безмолвии
бредил началом
Девятой симфонии,

дерзкие замыслы
в нищенстве пестуя.
«Делом бы занялся,
сволочь плебейская».

Вздутые жилы,
волосы на плечи.
Так вот и жил он,
весь музыкой каплющий.

В дружбе с народом,
радуясь с вечера,
лоб благородный
счастьем просвечивал.

Сложный и дюжий,—
слыхали такого вот? —
Мастер был души
людские выковывать.

Демон крылатый,
радость прославивший,
львиные лапы
бросая на клавиши.

РОДНОЙ ЯЗЫК

1

Дымом Севера овит,
не знаток я чуждых грамот.
То ли дело — в уши грянет
наш певучий алфавит.
В нем шептать лесным соблазнам,
терпким рекам рокотать.
Я свечусь, как благодать,
каждой буковкой обласкан
    на родном языке.

У меня — такой уклон:
я на юге — россиянин,
а под северным сияньем
сразу делаюсь хохлом.
Но в отлучке или дома,
слышь, поют издалека
для меня, для дурака,
трубы, звезды и солома
    на родном языке?

Чуть заре зарозоветь,
я, смеясь, с окошка свешусь
и вдохну земную свежесть —
расцветающий рассвет.
Люди, здравствуйте! И птицы!
И машины! И леса!
И заводов корпуса!
И заветные страницы
    на родном языке!

2

Слаще снящихся музык,
гулче воздуха над лугом,
с детской зыбки был мне другом —
жизнь моя — родной язык.

Где мы с ним ни ночевали,
где ни перли напрямик!
Он к ушам моим приник
на горячем сеновале.

То смолист, а то медов,
то буян, то нежным самым
растекался по лесам он,
пел на тысячу ладов.

Звонкий дух земли родимой,
богатырь и балагур!
А солдатский перекур!
А уральская рябина!..

Не сычи и не картавь,
перекрикивай лавины,
о ветрами полевыми
опаленная гортань!..

Сторонюсь людей ученых,
мне простые по душе.
В нашем нижнем этаже —
общежитие девчонок.

Ох и бойкий же народ,
эти чертовы простушки!
Заведут свои частушки —
Кожу дрожью продерет.

Я с душою захромавшей
рад до счастья подстеречь
их непуганную речь —
шепот солнышка с ромашкой.

Милый, дерзкий, как и встарь,
мой смеющийся, открытый,
розовеющий от прыти,
расцелованный словарь...

Походил я по России,
понаслышался чудес.
Это — с детства, это — здесь
песни душу мне пронзили.

Полный смеха и любви,
поработав до устатку,
ставлю вольную палатку,
спорю с добрыми людьми.

Так живу, веселый путник,
простодушный ветеран,
и со мной по вечерам
говорят Толстой и Пушкин
на родном языке.

ПУШКИН — ОДИН

А личина одна у добра и у лиха,
все живое во грех влюблено,—
столько было всего у России великой,
что и помнить про то мудрено.
Счесть ли храмы святые, прохлады лесные,
грусть и боль неотпетых гробов?
Только Пушкин один да один у России —
ее вера, надежда, любовь.

Она помнит его светолётную поступь
и влюбленность небесную глаз,
и, когда он вошел в ее землю и воздух,
в его облик она облеклась.
А и смуты на ней, и дела воровские,
и раздолье по ним воронью,—
только Пушкин один да один у России —
мера жизни в безмерном краю.

Он, как солнце над ней, несходим и нетленен,
и, какой бы буран ни подул,
мы берем его том и, как в Шушенском Ленин,
веселеем от пушкинских дум.
В наши сны, деревенские и городские,
пробираются мраки со дна,—
только Пушкин один да один у России,
как Россия на свете одна.

А ведь разумом Пушкин-то
с Лениным сходен,

словно свет их один породил,
и, чем больше мы связи меж ними находим,
тем светлее заря впереди.
Обернутся сказаньем обиды людские
на восходе всемирного дня,—
только Пушкин один да один у России,
как одна лишь душа у меня.

ВЕЧНАЯ МУЗЫКА МИРА — ЛЮБОВЬ

Вечная музыка мира — любовь,
вечное чудо любви...
Льющимся пламенем в люльке лесов
славят весну соловьи.

Молодость-злюка, молю, замолчи!
Людям к лицу доброта.
Слышишь, нас кличут лесные ключи,
клены шумят у пруда.

Радостным утром с подругой удрав,
на золотом берегу
алгебру запахов учим у трав,
алую заповедь губ.

Жарко от шарфа шальной голове,
сбрось его с бронзовых плеч.
Светом и нежностью пьян соловей,
пчелам не жалить, не жечь.

Рядом с любимой, с ромашкой во рту,
всею судьбой прожитой
кланяюсь ласке, дарю доброту,
пренебрегаю враждой.

Доченька дождика, смейся и верь,
ветром в ладонях владей.
Сосны, как сестры, звенят в синеве.
Солнце вселилось в людей.

Плещутся желтые волны хлебов
в жаркие плечи твои...
Вечная музыка мира — любовь,
вечное чудо любви.

* *
*

Не то добро, что я стихом
дышу и мыслю с детства, то бишь,
считаю сущим пустяком
все то, что ты, вздыхая, копишь.

Не то добро, что, опознав
в захожем госте однодумца,
готов за спором допоздна
развеселиться иль надуться.

Не то добро, что эта дурь,
что этот дар блажен и долог,
что и в аду не отойду
от книжных тумбочек и полок.

И если даже — все в свой час —
навеки выскажусь, неведом,
строкой случайной засветясь,—
добро опять-таки не в этом.

Добро — что в поле под лучом,
на реках, душу веселящих,
я рос, ничем не отличен
от земляков ли, от землячек.

Что — хоть и холоден очаг,
что хоть и слова молвить не с кем,—
а до сих пор в моих вещах
смеется галстук пионерский.

Что в жизни, начатой с азов,
с трубы, с костра, с лесного хруста,
не токмо Пришвин и Бажов
меня учили речи русской.

Что, весь — косматой плоти ком,
от бед бесчисленных не хныча,
дышал рекой, как плотогон,
смолой и солнцем — как лесничий.

Что, травы горькие грызя,
и сам горячий, как трава, я
в большие женские глаза
смотрел, своих не отрывая.

Что, вечно весел и здоров
(желая всем того ж здоровья),
не терся у чужих столов я
и не выклянчивал даров.

Что, всей душой служа одной,
о коей сызмала хлопочем,
я был не раз и буду вновь
ее солдатом и рабочим.

УТРО С ДОЖДЕМ И СОЛНЦЕМ

Хорошо проснуться рано,
до зари глаза продравши,
чтоб, окно тряхнув за раму,
мир увидеть солнца раньше.

Город спит еще и снится
сам себе иным и лучшим.
Дремлют длинные ресницы.
Зори плавают по лужам.

Спят друзья под крышей каждой,
ровно дышится во сне им.
Быт господствует пока что,
эпос явится позднее.

Милый дождик, мелкий, меткий,
золотой, веселый, ранний,
сыплет звонкие монетки
на асфальтовые грани.

Вот он дымкой стал весенней,
до земли не долетевшей,
чтоб фонарики висели
на листве помолодевшей.

Капли с чашечек роняя,
где-то ландыши запахли...
Хорошо ль тебе, родная?
Все наладится, не так ли?..

Между тем взошло, взыграло
в нежном гуле, в алом блеске,
солнце ломится сквозь рамы,
ставни, шторы, занавески.

Солнце! Солнце! Сколько солнца —
на полу, в углах, повсюду!
Все горит, звенит, несется.
Я смеюсь. Не верю чуду.

Как, смотря в людские лица,
гладя волосы у женщин,
всех обнять и всем открыться,
души радостью обжечь им?

Сколько их, полуодетых,
подымаясь под будильник,
трет глаза, балует деток,
наспех рвет шнурки ботинок.

И потом, фырча под краном
так, что мнится: ну, конец им,
по плечам, бокам багряным
трет мохнатым полотенцем...

Солнце! Солнце! Все проснулись.
Вышли тысячи, которым
расходиться между улиц
по заводам, по конторам.

С лиц слетает беззаботность.
Плоть по делу заскучала.
Солнце! Солнце!
                    День зовет нас.
Можно все начать сначала.

СТЕПЬ

Здесь русская тройка прошлась бубенцом,
цыганские пели костры,
и Пушкина слава зарылась лицом
в траву под названием трын.

Курчавый и смуглый промчался верхом,
от солнца степного сомлев,
и бредил стихом, и бродил пастухом
по горькой и милой земле.

А русые волосы вились у щек,
их ветер любил развевать...
И если не это, то что же еще
Россией возможно назвать?..

Шумит на ветру белобрысый ковыль,
и зной над лугами простерт,
и тут же топочет, закутавшись в пыль,
веселый украинский черт...

В румяной росе веселится бахча
под стражей у двух тополей.
Девчата болтают, идут хохоча,
и нету их речи милей.

И светлая речка, сверкая, течет,
и свежесть той речки, как дар...
И если не это, то что же еще
зовут Украиной тогда?..

Я сам тут родился и, радостный, рос,
 и сил набирался, и креп,
и слушал ритмичную музыку кос,
 и ел ее сладостный хлеб.

Тут чары смешались двух родин-сестер,
 и труд их кипит, как душа,
и воздух, как перец, горяч и остер,
 и этим я чудом дышал.

ДИАЛОГ О ЧЕЛОВЕКЕ

— Человек, человек,
божия коровка,
у тебя короткий век,
куцая головка.

— Хоть и мало годов
положила доля,
бьется на сто ладов
сердце молодое.

Голова — не изъян
с ликом ясноглазым.
Что не видно глазам,
то узнает разум.

— Человек, человек,
божия коровка,
сам ишачишь целый век,
а земля — воровка.

— Я — земной, голодал,
работящ и беден,
чтоб расти городам
и смеяться детям.

Ты хоть в небе виси,
коль породы звездной.
Я с землею в связи.
Разлучаться поздно.

— Человек, человек,
божия коровка,—
духом слаб, телом ветх,
на ногах веревка.

— По болотам, по рвам,
городя и сея,
я их много порвал
мощью тела всею.

Я огонь высекал,
хоть и был опутан.
Грезил высью Икар.
Разин бился бунтом.

— Человек, человек,
божия коровка,
одному весь свой век
маяться ли ловко?

— Не велик — не беда,
да не так уж мал я.
Как у суши — вода,
У Ивана — Марья.

Я люблю. Отвяжись.
Я тружуся, братец.
Вот вам смерть.
Вот вам жизнь.
Сами разбирайтесь.

* *
*

Сколько б ни бродилось, ни трепалось,—
а, поди, ведь бродится давно,—
от тебя, гремящая реальность,
никуда уйти мне не дано.

Что гадать: моя ли, не моя ли?
Без тебя я немощен и нищ.
Ты ж трепещешь мокрыми морями
и лесными чащами шумишь.

И опять берешь меня всего ты,
в синеве речной прополоскав,
и зовешь на звонкие заводы,
и звенишь — колдуешь в колосках.

Твой я воин, жаден и вынослив.
Ты — моя осмысленная страсть.
Запахи запихиваю в ноздри,
краски все хочу твои украсть.

Среди бед и радостей внезапных,
на пирах и даже у могил
не ютился я в воздушных замках
и о вечной жизни не молил.

Жить хочу, трудясь и зубоскаля,
роясь в росах, инеем пыля,
длись подольше, смена заводская,
свет вечерний, добрые поля.

Ну, а старость плечи мне отдавит,
гнета весен сердцем не снесу,—
не пишите, черти, эпитафий,
положите желудем в лесу.

Не впаду ни в панику, ни в ересь.
Соль твоя горит в моей крови.
В плоть мою, как бешеные, въелись
ароматы терпкие твои.

Ну, так падай грозами под окна,
кровь морозь дыханием «марусь»,—
все равно, покуда не подохну,
до конца, хоть ты мне и не догма,
я тебе — малюсенький — молюсь.

* *
*

Как Алексей Толстой и Пришвин,
от русской речи охмелев,
я ветром выучен и призван
дышать и думать нараспев.

О ритм реальности и прелесть!
Твои раздолье и роса
и мне до смерти не приелись,
и сам заказывал друзьям

идти, заглядывая в лица,
чем есть, с попутчиком делиться,
входить в колхозные дома,
смотреть багряные грома,

в трескучих рощах рыскать чертом,
веслом натруживать плечо
и обходиться хлебом черствым
да диким медом желтых пчел,

от русской речи охмелев,
сквозь ночь лететь на помеле
и кликать голосом охрипшим,
как Алексей Толстой и Пришвин.

Бери в товарищи того ты,
кто никому не господин,
чьи руки знают вкус работы,
чьи ноги знают вкус пути,

кто слов не толк в бумажной ступке,
а знает толк в лихом поступке,
кто любит запах хвой и вод
и сам из вольных воевод.

Я — сын Двадцатого столетья,
но перед будущим в долгу,
и ни отстать, ни постареть я
с друзьями рядом не могу.

Шумим листвой, капелью брызжем
по рощам бронзовым и рыжим,
светлы от женщин и дерев,
близки своим и рады пришлым,
как Алексей Толстой и Пришвин,
от русской речи охмелев.

ОДА

Так-сяк, и трезво, и хмельно,
в кругу друзей сквозь жар и трепет,
на службе, если дело терпит,
в кафе, в троллейбусе, в кино,—
пока душа не обреклась
ночному холоду и лени,
смотрю на женские колени,
не отводя упрямых глаз.

Земному воздуху верны,
округлы, розовы, хрустальны,
соблазна плод и парус тайный,—
пред ними нет моей вины.
Как на заморскую зарю,—
не веря в то, что это худо,—
на жизни чувственное чудо
с мороза зимнего смотрю.

Сумы дорожные свалив,
как мы смеемся, что мы шепчем,
когда в колени ждущих женщин
роняем головы свои.
Весь шар земной, весь род людской,
шута и гения — вначале
колени матери качали
с надеждой, верой и тоской.

Природа женщины сама —
стыдливость, жертвенность и шалость —
в них упоительно смешалась,

сводя художников с ума.
Спасибо видящим очам!
Я в греховодниках не значусь,
но счастье мне дарила зрячесть,
и я о том не умолчал.

Не представляю слаще лон
и, как на чудо Божье, пялюсь,
как соком плод, как ветром парус,
они наполнены теплом.
Досталось мне и стуж и гроз,
но все сумел перетолочь их,
когда, голея сквозь чулочек,
лучило нежное зажглось.

Пусть хоть сейчас приходит смерть,
приму любое наказанье,
а если выколют глаза мне,
я стану звездами смотреть.
Они мне рай, они мне Русь,
волчонком добрым льну и лащусь,
уж сорок лет на них таращусь,
а все никак не насмотрюсь.

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОСТОКЕ

Чуть слышно пахнут вяленые дыни.
У голубых и призрачных прудов
поет мошка. В полуденной пустыне
лежат обломки белых городов.

Они легли, отвластвовав и канув,
и ни один судьбой не пощажен,
и бубенцы беспечных караванов
бубнят о счастье мнимом и чужом.

Верблюды входят в сонную деревню —
простых людей бесхитростный приют.
Два раза в год беременны деревья,
плоды желтеют, падают, гниют.

Мир сотворен из запахов и света,
и верю я, их прелестью дыша,
что здесь жила в младенческие лета
моя тысячелетняя душа.

* *
*

Апрель — а все весна не сладится.
День в день — не ветрен, так дождист.
Когда в природе неурядица,
попробуй на сердце дождись.

Блеснет — на миг — и тучи по небу,
и новый день не удался.
А все ж должно случиться что-нибудь,
вот-вот начнутся чудеса.

И что душе до вражьих происков,
что ей, влюбленной, боль и суд,
когда в лесу синё от пролесков
и пахнет почками в лесу?..

* *
*

Когда весь жар, весь холод был изведан,
и я не ждал, не помнил ничего,
лишь ты одна коснулась звонким светом
моих дорог и мрака моего.

В чужой огонь шагнула без опаски
и принесла мне пряные дары.
С тех пор иду за песнями запястий,
где все слова значимы и добры.

Моей пустыни холод соловьиный,
и вечный жар обветренных могил,
и небо пусть опустятся с повинной
к твоим ногам, прохладным и нагим.

Побудь еще раз в россыпи сирени,
чтоб темный луч упал на сарафан,
и чтоб глаза от радости сырели,
и шмель звенел, и хмель озоровал.

На свете нет весны неизносимой:
в палящий зной поляжет, порыжев,
умрут стихи, осыплются осины,
а мы с тобой навеки в барыше.

Кто, как не ты, тоску мою утешит,
когда, листву мешая и шумя,
щемящий ветер борозды расчешет
и затрещит роса, как чешуя?

Я не замерзну в холоде декабрьском
и не состарюсь в темном терему,
всем гулом сердца, всем моим дикарством
влюбленно верен свету твоему.

* *
*

Нет, ты мне не жена.
Так звать тебя не надо.
Как старость, тяжела
семейная прохлада.
А мы до самых щек
теплы, как от пожара,
и стариться еще
нам не за что, пожалуй.
Еще не завелось
достатка и богатства,
и золото волос
пока что не погасло.

Нет, ты мне не жена.
Я слово слаще знаю.
Ты вся, как тишина,—
телесная, лесная.
Наш дом открыт для всех,
лишь захоти остаться,
в нем не смолкает смех
и не скучает счастье.
О музыка и зной
тех слов, что ты мне шепчешь
пастушкою ночной
поступков сумасшедших!..

Нет, ты мне не жена,
бродяжка и бесенок,
ты вся отражена
в глазах моих бессонных.

Ты — пролесок лесной,
и медом дальних пахот,
дымящейся весной
твои ладони пахнут.
Коснись моей листвы,
кружись певучей пчелкой
и жизнь мою лишь ты
переправляй и черкай.

Я губ твоих желал,
как простоты и света.
Нет, ты мне не жена,
и песенка не спета.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БОРЩА

Моя подруга варит борщ.
Неповторимая страница!
Тут лоб как следует наморщь,
Чтоб за столом не осрамиться.

Ее глазенушки светлы.
Кастрюля взвалена на пламя,
и мясо плещется в компаньи
моркови, перца и свеклы.

На вкус обшарив закрома,
лохматая, как черт из чащи,
постой, пожди, позаклинай,
чтоб получилось подходяще.

Ты только крышку отвали,
и грянет в нос багряный бархат,
куда картошку как бабахнут
ладони ловкие твои.

Ох, до чего ж ты хороша,
в заботе милой раскрасневшись
(дабы в добро не вкралась нечисть),
душой над снедью вороша.

Я помогаю чем могу,
да только я умею мало:

толку заправочное сало,
капусту с ляды волоку.

Тебе ж и усталь нипочем,
добро и жар — твоя стихия.
О, если б так дышал в стихи я,
как ты колдуешь над борщом!

Но труд мой кривду ль победит,
беду ль от родины отгонит,
насытит ли духовный голод,
пробудит к будням аппетит?..

А сало, желтое от лет,
с цибулей розовой растерто.
И ты глядишь на божий свет,
хотя устало, но и гордо.

Капуста валится, плеща,
и зелень сыплется до кучи,
и реет пряно и могуче
благоухание борща.

Теперь с огня его снимай
и дай бальзаму настояться.
И зацветет волшебный май
в седой пустыне постоянства.

Владыка, баловень, кащей,
герой, закованный в медали,
и гений — сроду не едали
таких породистых борщей.

Лишь добрый будет угощен,
лишь друг оценит это блюдо,
а если есть меж нас иуда,—
пусть он подавится борщом!..

Клубится пар духмяней рощ,
лоснится соль, звенит посуда...
Творится благостное чудо —
моя подруга варит борщ.

* *
*

Я не верю тебе, когда ты проклинаешь меня,
потому что душа не подвластна летам и болезням,
потому что люблю, потому что, когда мы исчезнем,
все стихи замолчат и не будет ни ночи, ни дня.

Понимаю до слез, как живется подруге поэта.
Ее доля не мед, особливо у нас на Руси.
И нужда, и вражда — хорошо, как на улице лето,
а ужо у зимы и на понюх тепла не проси.

Но зато и никто не увидит вовеки на дне нас,
где кичатся и лгут книжных княжеств хмельные
князья.
Нам с тобой не к лицу их разгульная жизнь
и надменность.
Этой трудной порой нам терять свою совесть нельзя.

Перед всеми клянусь, что с тобой никогда
не поссорюсь.
Наши души просты. Им раздолье в краю грозовом.
Мы в сердцах навсегда поселим доброту и веселость
и немногих друзей на застенчивый пир позовем.

Мы — как соль и вода. Нас нельзя разлучить
и поссорить.
Разве черная ночь отделима от белого дня?
Разве старится жизнь? Разве с дубом сражается
желудь?
Я не верю тебе, когда ты проклинаешь меня.

* *
*

Живем — и черта ль нам в покое?
Но иногда, по временам,
с устатку что-нибудь такое
приходит в голову и нам.

Что проку добрым быть и честным,
искать начала и концы,
когда и мы в свой срок исчезнем,
как исчезают подлецы,

когда и нам закроют веки,
и нас на кладбище свезут?
Но есть же совесть в человеке
и творчества веселый зуд.

Есть та особенная сила,
что нам с рожденья привита,
чтоб нашу плоть нужда месила,
чтоб дух ковала клевета.

И огнь прожег пяты́ босые,
когда и мне настал черед
поверить в то, что я — Россия —
земля, вода и сам народ.

В меня палили вражьи пушки,
меня ссылали в Соловки,
в моей душе Толстой и Пушкин —
как золотые колобки.

Я грелся в зимние заносы
у Революции костров,
и на меня писал доносы
Парис Жуаныч Котелков.

В беде, в безвестности, в опале,
в глухой дали от милых глаз
мои тревоги не пропали,
моя держава сбереглась.

И вот — живу, пытаю душу,
готовлю душу к платежу
и прозаическую стужу
стихами жаркими стыжу.

ПЛЫВЕТ «АВРОРА»

Перед тобой дрожат цари,
    враги не дремлют,—
богиней утренней зари
    была у древних.
Твоя ликующая стать
    от зорь багрова.
Что проку к берегу пристать?
    Плывет «Аврора».

В летящей горечи морей,
    в звенящих брызгах,—
о Революции моей
    призывный призрак!
Смотрите все, в ком верен дух:
    искать простора,
лечить истории недуг
    плывет «Аврора».

За что нам в жизни тяжело,
    судьбы подруга?
От кривды хмурится чело,
    с харчами туго.
Я на сто бед рукой махну,
    не шля укора:
надеждой к нашему окну
    плывет «Аврора».

Сквозь дни в метелях и кострах,
    что стали бытом,

на крах империям, на страх
антисемитам.
Как революционный клич,
решенье спора,
победно щурится Ильич,
плывет «Аврора».

Кто жил, любовию звуча,
те остаются,
но шанса нет у палача
и властолюбца.
От них ни тени, ни молвы
не станет скоро,
их смоет взмах одной волны:
плывет «Аврора».

Вельможа в ужасе вскочил
с тяжелых кресел,
подонка прыти научил
бессмертный крейсер.
Приборы не забарахлят
у командора.
Ага, боишься, бюрократ!
Плывет «Аврора»!

К своей судьбе на той волне
навек прикуйте
всех тех, кто сгинул на войне
и пал при культе.
Флажки сигнальные взвились,
как пенье хора,—
в межгалактическую высь
плывет «Аврора».

Мое гнездо на том борту —
　　матросский кубрик,
и соль соленая во рту,
　　чтоб таял сумрак.
Всю жизнь — за Лениным — отдам
　　без уговора,
когда по вспененным годам
　　плывет «Аврора».

ВОТ ТАК И ЖИВЕМ

С тенями в очах
от бдений и дум
с утра натощак
на службу иду.

Ах, дождик ли, снег,—
мне все трын-трава,—
в непрожитом сне
спешу на трамвай.

Хоть черт-те во что
судьбой наряжен,
худое пальто
для зла не резон.

Подруга моя,
нежна уж на что,
не хуже, чем я,
воюет с нуждой.

С зари до зари,
с работы домой —
картошку свари,
посуду помой.

А дома одно —
в вещах недочет,
на крышу окно
и стенка течет.

Ладонь на ладонь,
плевать, что озяб:
была бы любовь
да были друзья б!

Открытый для всех,
от зла заслонясь,
да здравствует смех
в каморке у нас!

Приходят от дел,
от мытарств дневных
и эти, и те,
и много иных.

И спор до утра
под крышей сырой
чуть-чуть не до драк
доходит порой.

Мы все разрешим
и все отопрем
вершиной вершин —
моим Октябрем.

И взоры синей
от той кутерьмы,
и много семей
таких вот, как мы.

Устанем, придем,
тут лечь бы в тепле,—
хватает с трудом
на книги и хлеб.

Но лучшую часть
души не отнять:
потухнем на час —
и рады опять.

Мечтой и трудом
вот так и живем
и в гости в свой дом
полсвета зовем.

С пустою мошной
любовь бережем,—
и все нам смешно,
и все — хорошо!

* *
*

Январь — серебряный сержант,
давно отбой в казармах ротных,
а не твои ли в подворотнях
снегами чоботы шуршат?

Не досчитались нас с тобой.
Мы в этот вечер спирт лакали.
Я черкал спичкой — и в бокале
являлся чертик голубой.

Мне мало северного дня
дышать на звездочки мозаик.
Ведь я — поэт, а не прозаик,
хранитель Божьего огня.

Хотя, по счастию, привык
нести житейскую поклажу,
но с братом запросто полажу,
рубая правду напрямик...

Ан тут хозяюшка зима,
чье волшебство со счастьем смежно,
лохмато, северно и снежно,
меня за шиворот взяла.

Ей не впервой бродяг держать,
ворча сквозь смех о позднем часе,
и пошкандыбал восвояси
январь — серебряный сержант.

Теперь морозцем щеки жги,
святой снежок в ладошах комкай.
В ночи, космической и колкой,
шуршат сержантовы шаги.

* *
*

Наш кораблик,— плевать, что потрепан
и ветх,—
Он плывет в океане и мраке,
а команда на нем из двоих человек,
Не считая кота и собаки.

Я опалой учен, мне беда нипочем,
и со мной одна беглая женка.
Золоты ее кудри над юным плечом,
пахнут волосы терпко и тонко.

Мы на острове Ласки сушились от бурь,
пили вина из многих бутылок.
Я, как пахарь и ухарь, пытаю судьбу,
мне любовь моя дышит в затылок.

Мы летим через горы, свистя и божась,
лебединую дрему тревожа.
На борту намалеван нехитрый пейзаж
и веселая русская рожа.

Нас волна смоляная не выдаст врагу,
с шаткой палубы в бездну не скатит.
Удалые друзья на родном берегу
волокут самобранную скатерть.

Об утесы вражды бились наши сердца,
только ты не показывай виду.
Ветру лирики нет и не будет конца,
а ханыгам споют панихиду.

Да поят нас весельем и доброй тоской,
да хранят наши души простые
красно солнышко — Пушкин, синь воздух —
Толстой
и высотное небо России.

КАК ПУШКИН И ТОЛСТОЙ

Как Пушкин и Толстой,
я родом из России.
Дни сеткою густой
мой лик избороздили.
Шумлю в лесах листвой,
не выношу кумирен,
как Пушкин и Толстой,
бездомностью всемирен.

Как Пушкин и Толстой,
я всем, к чему привязан,
весельем и тоской
духовности обязан.
С блаженной высотой
мучительную землю,
как Пушкин и Толстой,
связую и приемлю.

Как Пушкин и Толстой,
я с ложию не лажу,
став к веку на постой,
несу ночную стражу.
В обители чужой,
не видя лиц у близких,
как Пушкин и Толстой,
распространяюсь в списках.

Как Пушкин и Толстой,
лелею искру Божью,
смиренною душой

припав к его подножью.
Гнушаясь суетой,
корысти неподвластен,
как Пушкин и Толстой,
я вечности причастен.

Как Пушкин и Толстой,
служу простому люду,
затем что сам простой
от роду и повсюду.
От сути золотой
отвеявши полову,
как Пушкин и Толстой,
служу святому слову.

Как Пушкин и Толстой,
люблю добро и прелесть,
земною красотой
глаза мои согрелись.
С крестьянскою росой
пью ливни городские.
Как Пушкин и Толстой,
Люблю тебя, Россия.

МОЛИТВА

Не подари мне легкой доли,
в дороге друга, сна в ночи.
Сожги мозолями ладони,
к утратам сердце приучи.

Доколе длится время злое,
да буду хвор и неимущ.
Дай задохнуться в диком зное,
веселой замятью замучь.

И отдели меня от подлых,
и дай мне горечи в любви,
и в час, назначенный на подвиг,
прощенного благослови.

Не поскупись на холод ссылок
и мрак отринутых страстей,
но дай исполнить все, что в силах,
но душу по миру рассей.

Когда ж умаюсь и остыну,
сними заклятие с меня
и защити мою щетину
от неразумного огня.

ТАРАС

От стихов безликих ум зашел за разум,
а поэта жребий темен и тяжел.
Я призванье наше меряю Тарасом,
справедливей меры в мире не нашел.

Из тюрьмы Лубянской, из тенет застенка
возносили дух мой Гете и Бодлер,
только самый кровный был один Шевченко —
мне огонь и посох, образ и пример.

Над хромым шедевром млея от восторга,
парой парадоксов кто не козырял?
Ну, а ноздри жгло вам воздухом Востока,
а тюрьмою был вам душный Косарал?

А плетьми вас драли панские сатрапы,
а случалось много ль в детстве голодать?
А за край свой ридный, за поля, за травы
на распятье душу сможете отдать?

Рифмачей продажных, Господи, отринь их!
Я ж воочью знаю, сам изведал встарь,
как в селянских хатах, в заповедных скрынях
с Библией хранился дедовский «Кобзарь».

В небе Украины шапки его клочья,
горем всех народов волос побелен.
Не поэт в крылатке, а холопский хлопчик
мыкался по свету вечным бобылем.

И, бунтарским духом высветлен и тепел,
над примолкшим станом хряков и проныр
в землю врос корнями, как могучий тополь,
молнии возмездья с неба обронил.

Тысячи вельможных шишек и каналий —
царь и шаромыжник, пентюх и фискал —
за прямую правду гения гоняли
по тюремным дырам, по сухим пескам.

Но не дался тлену, ни душевной травме,—
в оттепели звонкой, в свежести лесной
с марта и до мая, с березня до травня
шествует Шевченко грянувшей весной.

Судится мятежно с панством окаянным,
словом путеводным побеждает тьму,
и народ рабочий аж за океаном
кланяется земно батьку своему.

Время — гордым думам, время —
добрым чувствам
воплощаться в дело, праздником дарясь.
Поплывем, громада, морем Кременчугским
до горы Чернечей, где лежит Тарас.

Светом его сердца вся земля повита,
жаром его мысли мир весь озарен,
слышат все народы строфы «Заповита»,
головы склоняя перед Кобзарем.

* *
*

Без всякого мистического вздора,
обыкновенной кровью истекав,
по-моему, до́бро и здорово,
что люди тянутся к стихам.

Кажись бы, дело бесполезное,
но в годы памятного зла
поеживалась Поэзия,—
а все-таки жила!

О, сколько пуль в поэтов пущено,
но радость пела в мастерах,
и мстил за зло улыбкой Пушкина
непостижимый Пастернак.

Двадцатый век болит и кается,
он — голый, он — в ожогах весь.
Бездушию политиканства
Поэзия — противовес.

На колья лагерей натыканная,
на ложь и серость осерчав,
поворачивает к Великому
человеческие сердца...

Не для себя прошу внимания,
мне не дойти до тех высот.
Но у меня такая мания,
что мир Поэзия спасет.

И вы не верьте в то, что плохо вам,
перенимайте вольный дух
хотя бы Пушкина и Блока,
хоть этих двух.

У всех прошу, во всех поддерживаю —
доверье к царственным словам.
Любите Русскую Поэзию.
Зачтется вам.

* *
*

До гроба страсти не избуду.
В края чужие не поеду.
Я не был сроду и не буду,
каким пристало быть поэту.
Не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах,—
мой дух возращивался в тюрьмах
этапных, следственных и прочих.

И все-таки я был поэтом.

Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лускал,
каналы рыл и правду брякал.
На брюхе ползал по-пластунски
солдатом части минометной.
И в мире не было простушки
в меня влюбиться мимолетно.

И все-таки я был поэтом.

Мне жизнь дарила жар и кашель,
а чаще сам я был нешелков,
когда давился пшенной кашей
или махал пустой кошелкой.
Поэты прославляли вольность,
а я с неволей не расстанусь,
а у меня вылазит волос
и пять зубов во рту осталось.

И все-таки я был поэтом,
и все-таки я есмь поэт.

Влюбленный в черные деревья
да в свет восторгов незаконных,
я не внушал к себе доверья
издателей и незнакомок.
Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
водяру дул, с вождями грызся,
тишком за девочками бегал.

И все-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом
и подыхаю как поэт.

ЛЕНИНУ БОЛЬНО

Лениным звался, а только и славы, что вождь:
жил небогато, таскал на субботнике бревна.
С Лениным рядом в потомках поставишь кого ж?
Ленину больно.

Как умирал! Было мукой за мир спалено
мудрое сердце, натертое лямкой подпольной.
Веки закрыли, снесли в мавзолей,— все равно
Ленину больно.

Сколько соратников без вести кануло в ночь,
замертво падая, камеры жадные полня!
Бронзовым стать и народу в беде не помочь
Ленину больно.

Время-то справится, но каково Ильичу
ведать, что правда бесправна,
а власть непробойна?
Сталинской лапы похлопыванье по плечу
Ленину больно.

С красной трибуны над правом
куражится мразь,
самовозносится праздных речей колокольня.
Хватит, подонок! Со свинством твоим не мирясь,
Ленину больно.

Ленину больно от низости нашей любой,
ложью и ленью мы Ленина раним невольно,
водку ли глушим или унижаем любовь,—
Ленину больно.

Боль миллионов взывает из вечных огней:
горстка кретинов грозит человечеству бойней.
Ленин прищурился. В Ленине ярость и гнев.
Ленину больно.

Все озареннее боли его резонанс:
Страхом и злом не мрачите высокого полдня!
Сделаем, люди, чтоб не было в нас же за нас
Ленину больно.

ВМЕСТО ВЕНКА

(Б. Пастернаку)

Когда умирают
борцы и пророки,
нам свет оставляют
на долгие сроки.

Их вид переменится,
а духу не вытечь...
А вот куда денется
Борис Леонидович?

Здоровью в убыток,
себе не к добру —
жалельщик убитых
и руганым друг.

По смыслу ребенок,
по сути актер,
он чтил погребенных.
А судьи-то кто?..

Куда ни поеду,
куда ни пойду,—
большому поэту
везде как в аду.

Положим, не я ли,
не вы ль заодно,
что он гениален,
узнали давно,

что, молод и весел,
еще не простыв,
как Бог, куролесил
в стихах непростых,

что тех ли находок,
того ли добра
достало б на годы,
лишь брать бы да брать.

Ни капли не выдохлись
и не таятся
ни сердце, ни синтаксис,
ни интонация.

Тяжелые торбы
таскают ослы.
А надо быть добрым,
а лучше бы — злым.

Не добр и не зол ты,
упрямый Тристан,
не встретил Изольды
и зорю проспал.

Тут, как ни усердствуй
и как ни жалей,
не вместишь то сердце
ни в чей мавзолей.

Бросаться спасать бы,
да кто тебе он-то?
Добро бы писатель,
а то — член Литфонда...

Политик убогий,
большой говорун,
пришелся эпохе
не ко двору.

Умом не богаты
и сердцем черны,
«так вот чепуха-то» —
решили чины.

Для крика, для вопля
лоснящейся рожи
и премия Нобеля —
повод хороший.

По голову полон
неспетых поэм,
он так и не понял,
за что и зачем.

Тонки его руки —
не раб, не солдат,—
соленые струйки
сбегают со лба.

На окнах шторы,
а жизнь нелегка.
Ждать чуда? Да что вы!
Откуда и как?

Словесная удаль —
не козырь для псов...
Он взял и умер.
Вот и все.

ЯЛТА

1

И свет, и море, и трава
ярки по-ялтински.
Я глаз не в силах оторвать
от этой яркости.

Об этой Ялте с давних пор
немало наврано.
Она раскинулась у гор
и дышит лаврами.

Иным, на солнце разварясь,
в ней все наскучило.
А я приехал в первый раз
и то — по случаю.

Я с Севера, устав, как вол,
добра не чаючи,
пришел послушать рокот волн
и крики чаячьи.

Без модных платьев, без пижам
здесь встретить некого,—
я их симпатий избежал —
и в домик Чехова.

Смотрю сюда, смотрю туда,
задравши голову,
и говорю: «Вот это да!
Вот это здорово!»

А моря синь, а моря синь
ни с кем не дружится,

соленой пылью моросит,
валами рушится.

По вечерам в тепле луны
цикады тикают,
и все дворы оплетены
лозою дикою...

Клянусь быть сытости врагом,
но, тем не менее,
я здесь, крикун, смотрю кругом
в благоговении.

Я — ночь, я — берег, я — волна,
я — дух над шабашем.
Душа лишь вечности верна
в молчанье набожном.

Мои глаза мокрым-мокры,
они, смущенные,
не налюбуются на Крым,
на море Черное...

Не по карману нам пока,
в работу канувшим,
лежмя, пролеживать бока
на теплых камушках.

И я, набравшись добрых чувств
у древней осени,
на долгий срок не загощусь
в курортной просини.

Спускаюсь с кручи на бульвар,
у моря рыскаю
и рад, что у судьбы урвал
хоть осень крымскую.

2

Помню сердцем, вижу зримо,
даже в ссоре, даже в гневе,
как ты радовалась Крыму,
чайкам в море, солнцу в небе.

Как от всех дорог, от мытарств
ножки бедные разули
и послали их омыться
в нежной ялтинской лазури.

Как натруженные руки,
людям делавшие благо,
окунули по заслуге
в йодом пахнущую влагу.

В том краю, где краски ярки,
билась кровь, дышала грудка.
Это счастье наше в Ялте
было коротко и хрупко.

И опять, вернувшись к будням,
к бездне бед, к обиде стойкой,
ты зовешь меня беспутным,
я зову тебя жестокой.

Как ты русою русалкой
на камнях, притихши, грелась,
мне до слез сегодня жалко
понимать: за бегом — бренность...

Ну, а ты одна ль такая,
ну, а люди-полутени
чем-то лучше, привыкая
отдавать без получений?

Век их краток, жребий лют их,
скучен хмель, хмуры кануны,—
а ведь в этих самых людях
крылся замысел Коммуны...

Нам, пожалуй, не дождаться
в жизни трудной и дешевой
справедливого гражданства,
человечества большого...

Кабы мне за песен ворох
получить бы тысяч сорок,
я бы взял худых и хворых,
искупал бы в юга зорях.

Я бы их — от всех болячек,
от обид и голодовок —
под шатер лучей палящих,
к чаше моря голубого.

КРЫМСКИЕ ПРОГУЛКИ

Колонизаторам — крышка!
Что языки чесать?

Перед землею крымской
совесть моя чиста.
Крупные виноградины...
Дует с вершин свежо.

Я никого не грабил.
Я ничего не жег.

Плевать я хотел на тебя, Ливадия,
и в памяти плебейской
не станет вырисовываться
дворцами с арабесками
Алупка воронцовская.
Дубовое вино я
тянул и помнил долго.

А более иное
мне памятно и дорого.

Волны мой след кропили,
плечи царапал лес.
Улочками кривыми
в горы дышал и лез.
Думал о Крыме: чей ты,
кровью чужой разбавленный?
Чьи у тебя мечети,
прозвища и развалины? —

Проверить хотелось версийки
приехавшему с Руси:
чей виноград и персики
в этих краях росли?
Люди на пляж, я — с пляжа,
там, у лесов и скал
«Где же татары?» — спрашивал,
все я татар искал.

Шел, где паслись отары,
желтую пыль топтал,
«Где ж вы,— кричал,— татары?»
Нет никаких татар.
А жили же вот тут они
с оскоминой о Мекке.
Цвели деревья тутовые,
и козочки мекали.
Не русская Ривьера,
а древняя Орда
жила, в аллаха верила,
лепила города.
Кому-то, знать, мешая
зарей во всю щеку,
была сестра меньшая
Казани и Баку.

Конюхи и кулинары,
радуясь синеве,
песнями пеленали
дочек и сыновей.
Их нищета назойливо
наши глаза мозолила.
Был и очаг, и зелень,
и для ночлега кров...
Слезы глаза разъели им,
выстыла в жилах кровь.

Это не при Иване,
это не при Петре:
сами небось припевали:
«Нет никого мудрей».

Стало их горе солоно.
Брали их целыми селами,
сколько в вагон поместится.
Шел эшелон по месяцу.
Девочки там зачахли,
ни очага, ни сакли.
Родина оптом, так сказать,
отнята и подарена,—
и на земле татарской
ни одного татарина.

Живы, поди, не все они:
мало ль у смерти жатв?
Где-то на сивом Севере
косточки их лежат.

Кто помирай, кто вешайся,
кто с камнем на конвой,—
в музеях краеведческих
не вспомнят никого.

Сидит начальство важное:
«Дай,— думает,— повру-ка».
Вся жизнь брехнею связана,
как круговой порукой.
Теперь, хоть и обмолвитесь,
хоть правду кто и вымолви,—
чему поверит молодость?
Все верные повымерли.

Чепухи не порите-ка.
Мы ведь все одноглавые.
У меня — не политика.
У меня — этнография.
На ладони прохукав,
спотыкаясь, где шел,
это в здешних прогулках
я такое нашел.

Мы все привыкли к страшному,
на сковородках жариться.
У нас не надо спрашивать
ни доброты, ни жалости.

У́мершим — не подняться,
не добудиться у́мерших...
но чтоб целую нацию —
это ж надо додуматься...

А монументы Сталина,
что гнул под ними спину ты,
как стали раз поставлены,
так и стоят нескинуты.

А новые крадутся,
честь растеряв,
к власти и радости
через тела.

А вражьи уши радуя,
чтоб было что писать,
врет без запинки радио,
тщательно врет печать.

Когда ж ты родишься,
в огне трепеща,
новый Радищев —
гнев и печаль?

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Лишь закрою глаза —
и, как челн, меня море качает,
и садится на губы
нагая и теплая соль.
Не отцовством объят,
а от солнца я пьян и от чаек.
О, как часто мне снится
соленый и плещущий сон.

Дразнит прозу мою,
брызжет в раны, веселый обидчик,
чья за мутью и зеленью
так изумительна синь.
То ли хлопья летят,
то ли птицы хлопочут о пище,—
то порхают барашки,
которых вовек не сносить.

Ну о чем бормотать?
Ну какого рожна кипятиться?
Я горю на огне.
Я — роса. Я ничем не гнетусь.
Я лежу на рядне.
Породниться бы нам, кипарисы!
Солнце плавит плоды
и колышет в ладонях медуз.

Разверзаются недра,
что вечно свежи и не дряблы.
Ходят нежные негры.

Здесь камень до ночи нагрет.
Пахнет йодом и рыбой.
И екает сердце над рябью,
где хохочущий повар
готовит чертям винегрет.

Отоспимся потом.
До потемок позябнем от зыби.
По ночам оно дышит,
как скинувший бурку джигит.
Море хлюпает в мол.
Море мокрые камешки сыплет.
Им никто не насытится.
Море и мертвых живит.

И смывает всю муть.
И смеется светло и ломяще.
И прозрачно слоится.
А может и скалы молоть.
И возьму я с собой
в свой последний отъезд из Ламанчи
вместо хлеба и книги
лохматой лазури ломоть.

* *
*

Месяц прошел и год, десять пройдет и сто,—
дышит-поет внизу море в барашках белых.
Ласточкино Гнездо, Ласточкино Гнездо —
нежного неба зов, южного моря берег.

Прожитых дней печаль стихла и улеглась.
Чайки сулят покой. Звездно звенят цикады.
Близким теплом души, блеском любимых глаз
в Ласточкином Гнезде так неземно тиха ты.

Наши сердца кружит солнца и моря хмель,
память забыла все горести и ненастья.
Почка лозы святой — пушкинская свирель —
путников вновь свела в замке добра и счастья.

Сладостно-солона вечная синева,
юность ушла в туман на корабле прошедшем.
Ласточкино гнездо — ласковые слова,
те, что не раз, не два мы в тишине прошепчем.

Как за волной волна, тайне душа верна.
Спят за горой гора в свете от кипарисов.
Давние времена, славные имена,
как ветровой привет и как заветный вызов.

Стань для меня с тобой памятью и звездой,
где, как веков настой, море шумит в пещерах,
Ласточкино Гнездо, Ласточкино Гнездо —
нежного неба зов, южного моря берег.

СОНЕТ С МАРШАКОМ

В краю, чье имя — юности синоним,
на берегу зеленом и морском,
смутясь до слез и в трепете сыновнем,
мне говорить случилось с Маршаком.

Я час провел с веселым мастаком,
как сердце, добрым, вовсе не сановным.
Сияло детство щедрое само в нем
и проливалось солнечным стихом.

Седым моржом наморщенный Маршак
судил мой жар, стараясь быть помягче.
Бесценный клад зарыт в моих ушах.

Ему б — мой век, а мне б — его болячки.
И что мне зной, и что мне мошкара?
Я горд, как черт, что видел Маршака.

* *
*

Клубится кладбищенский сумрак.
У смерти хороший улов.
Никто нам не скажет разумных,
простых и напутственных слов.

Зачем про веселье узнал я,
коль ужас мой ум холодит?
Поэты уходят в изгнанье,
а с нами одни холуи.

О, как нам жилось и бродилось
под русским снежком по зиме...
Смешная девчонка Правдивость,
ты есть ли еще на земле?

Да разве расскажет писатель
про тайны лукавых кулис,
что кесари наши пузаты
и главный их козырь — корысть?

Висит календарь наш без мая,
у кисти безумны мазки,
и девочки глушат, и смалят,
и кроют беду по-мужски.

На женщину, как на зарю, я
молился сто весен назад,
а нынче смотрю, озоруя,
на ножки твои да на зад.

Ворожит ли стая воронья,
пороша ль метет на душе,—
художник бежит от здоровья,
от нежности и кутежей.

При жизни сто раз умиравший,
он слышит шаги за спиной:
то снова наводит мурашки
жестокости взор жестяной.

Теперь не в ходу озорные,—
кому отливать перепуг,
когда Пастернака зарыли,
и скоро помрет Эренбург?

Бродяга и шут из Ламанчи,
кто нес на мече доброту,
все ребра о жизнь изломавши,
дал дуба и где-то протух...

Немея от нынешних бедствий
и в бегстве от будущих битв,
кому ж быть в ответе за век свой?

А надо ж кому-нибудь быть...

ЛЕШКЕ ПУГАЧЕВУ

Обставляешь логово?
Тычешь в нос отцовством?
А ведь дело плохо —
жизнь не вытанцовывается.

Не вытанцовывается — ну и черт с ней!
Было бы живо искусство,
А чарку водки и коркой черствой,
как выяснилось, можно закусывать.

Люблю тебя, черта русского,
за то, что рожден шальным,
хоть и по разным руслам
мы плещем и шумим.

Тебе ль беду не каркали
скупые куркули?
— Не ставь души на карту.
Маститых не хули!

Нынче время тусклое,
паче для артистов:
упекут в кутузку,
«пальчики» оттиснув.

Замурзанные музы
на сцену волокут
героев кукурузы,
вождей по молоку.

Хочешь приятно
пожить-позабавиться?
Исполнись, приятель,
гражданского пафоса!

Ты им на это смачно
и весело ответил:
— Мечта у нас, как мачта,
подставлена под ветер.

А не лучше, парень,
взять и удавиться,
чем со сцены шпарить
из передовицы?

Все надо делать вкусно,
рисковано и зычно.
Кто создан для искусства —
тот язва и язычник.

Что диспуты, что деспоты
опухшим и шалавым,
коль из того же теста мы,
что Пушкин и Шаляпин?

К удачам недоверчивы,
с любовью не в ладу,
горим с утра до вечера,
а ночь у нас для дум.

Не вынесли и черти бы
тех горестей и тех радостей,—
аж пот закипал на черепе
и лился на лист тетрадочный.

Мы душ не мараем ложью,
как ваш перегнивший Рим,
шуруем во славу Божью
и ведаем, что творим.

Хмельны от питья веселого,
выкашливающие дым,
когда-нибудь мы еще здорово,
по-шаляпински пошалим!

Вот так ты сказал — и баста,
и душу всю распротак!
Люблю тебя, зубастого,
в забавах и трудах.

Пошлялись мы по свету,
поспорили с судьбой.
Другой России нету,
чем та, что мы с тобой

с трагическим весельем,
спаленные дотла,
в сердца людские сеем,
чтоб чистою взошла.

Пускай в мошне не густо,
лишь песня шла б на лад.
Да светится искусство!
Да здравствует талант!

*   *
  *

Неужто все и впрямь темно и тошно,
и ты вовек с весельем не знаком?
А вот костер — и варится картошка,
и пар плывет над жарким казанком.

Запасы счастья засветло пополни,
а злость и зависть сядут под арест.
О, что за снедь ликует на попоне:
редиска с грядки, первый огурец!

И мед земли поет в твоих ладонях,
сверкает, медлит, шелков и парчов,
и, курс держа на свой дощатый домик,
спешит семья стремительных скворцов.

Каким пером ту прелесть опишу я,
где взять слова, каких на свете нет,
когда над всем, блистая и бушуя,
царит и дышит яблоневый цвет,

и добрый ветер, выпрыгнув из чащи,
ласкает ветки, листьями звеня,
и добрый друг, так родственно молчащий,
сидит с тобой у доброго огня.

ОДА НЕЖНОСТИ

О, дай мне одой нежности побыть,
кувшинкой белой, дуновеньем мяты.
Я так боюсь заветное забыть.
Хоть на минуту вспомнишь ли меня ты?

Я повторю на тысячи ладов,
перетрублю сиянье лир и лютен,
что нет, не страсть, о нет, и не любовь,
но, нежность, ты всего нужнее людям.

Ты приходила девочкой простой,
вся из тепла, доверия и грусти,—
как летний луг с ромашкой и росой,
как зимний лес в сверкании и хрусте.

Касалась боли холодом бинта,
на жаркий лоб снежинками снижалась,
и в каждом жесте мне была видна
твоя ошеломительная шалость.

Я помню пальцы твердые твои,
их волшебству навеки не угаснуть.
Явись еще и чудо сотвори,
верни мою утраченную ясность.

Твой тихий шаг звучит едва-едва.
Зову, мечусь: да разве ж ты немая?
Я целый мир у зла отвоевал,
а твоего не вызвал пониманья.

Ни заслужить, ни вымолвить нельзя,
чтоб соловьями волосы запели.
Ты — легкая. Ты — светлая. Ты — вся,
как первый снег и первый звон капели.

И только ты нас делаешь людьми.
Нам хорошо в твоей певучей власти.
О, сохрани несбыточность любви
от прямоты ожесточенной страсти!

Плесни в мой жар, о карая река,
омой мою струящуюся муку.
Живи со мной, как правая рука,
не торопись на вечную разлуку.

Ведь если я и вздор порой мелю,
и если вдруг и потемнею ликом,
то это в легком праздничном хмелю,
а не в чаду удушливом и диком.

ЭТОТ МАРТ

Разнообразны и вкусны
повествования весны.

Она как будто и близка,
а снегу сроду столько не было.
Иду по марту, как по небу,
проваливаясь в облака.

Еще морочат нас морозы,
но даль хрустально-голуба,
и, как от первой папиросы,
кружится дура-голова.

В моих глазах — мельканье марли.
Ну что ж, метелица, бинтуй.
Мы заблудились в этом марте.
Не угодить бы нам в беду.

Я сто ночей не отдыхаю.
Я слаще нежности не знал.
Во сне теснит мое дыханье
мокроволосая весна.

В ее святой и светлой замяти,
в капели поздней и седой
живу с открытыми глазами,
как мне повелено судьбой.

Сосулинки залепетали,
попались, звонкие, впросак,

и голубыми лебедями
сугробы плещутся в ручьях.

Я никуда отсель не съеду.
Душа до старости верна
хмельному таянью и свету,
твоей волшебности, весна.

Знать, для того и Север был,
и одиночество, и ливни,
чтоб в тот март тебя внесли мне
пушистой веточкой вербы.

Ну, что мне выдумать? Ну, чем мне
шаги веселые вернуть?
Не исчезай, мое мученье,
еще хоть капельку побудь.

Мир полон обликом твоим.
Он — налегке. Он с кручи съехал.
Он пахнет солнышком и снегом,
а в сердце буйство затаил.

* *
*

Ох, как мой край метели холят!
У нас тепла полгода ждешь,
дождался чуть — и снова холод:
то чешет снег, то лупит дождь.

По накопившимся колосьям
и оголившимся ветвям
приходит свищущая осень,
и начинается бедлам.

Ее туманами повиты,
не понарошку, а всерьез
все наши лучшие пииты
влюблялись в слякоть да в мороз.

А я до холода не падок.
Едва осиливши нужду,
не вижу проку в листопадах,
добра от Севера не жду.

И хоть российские пииты
воспели вьюжные снега,
меня тем пойлом не пои ты:
я зимам сроду не слуга.

Меся подстуженную жижу
и не боясь ее угроз,
до одуренья ненавижу
хваленый музами мороз.

* *
*

На мой порог зима пришла,
в окошко потное подула.
Я стыну зябко и сутуло,
грущу — и грусть моя грешна.

И то ли счастье, то ли сон
на мой порог, как снег, упали,
и пахнет милыми губами
мое горящее лицо.

Я жарюсь в чертовых печах.
(Как раз за лириков взялись там.)
Я нищетой до дыр залистан.
О, не читай меня, печаль!

Ты ж, юность, смейся и шали,
с кем хочешь, будь, что хочешь, делай.
Метелью праздничной и белой
во мне шумят твои шаги.

Душе и сладко, и темно,
ей не уйти и не остаться,—
и трубы трепетные счастья
по-птичьи плачут надо мной.

* *
*

С рожденьем, снег! Какой ты белый!
Ну, радость, чем тебе не рай?
В снежки играй, на лыжах бегай,
но только — чур — не помирай.

Смеяться доблестней, чем плакать.
Еще далек ненастий гул.
Застыла грязь, замерзла слякоть,
и горе глохнет на снегу.

И рад, и счастлив целый день я,
что снег волшебней, чем вода,
что быстро старятся мгновенья,
а вечность вечно молода.

Я говорю зиме: «Здорово!
Мы скоро елочки зажжем».
Она, как школьница, сурова
и, как богиня, нагишом.

И я по-детски ей на ухо
шепчу, а сам не чую ног:
«А я, зимулечка-зимуха,
как раз на школьный огонек».

Я очень рад, что ты красива,
и быть хочу тебе под стать.
Меня, мол, юность пригласила
стихи на празднике читать.

* *
*

И нам, мечтателям, дано,
на склоне лет в иное канув,
перебродившее вино
тянуть из солнечных стаканов,
в объятьях дружеских стихий
служить мечте неугасимой,
ценить старинные стихи
и няньчить собственного сына.
И над росистою травой,
между редисок и фасолей,
звенеть прозрачною строфой,
наивной, мудрой и веселой.

* *
*

Все деревья, все звезды мне с детства тебя обещали.
Я их сам не узнал. Я не думал, что это про то.
Полуночница, умница, черная пчелка печали,
не сердись на меня. Посмотри на меня с добротой.

Как чудесно и жутко стать сразу такими родными.
Если только захочешь, всю душу тебе отворю.
Я твержу как пароль каждым звуком хмелящее имя,
я тревожной порой опираюсь на нежность твою.

Не цветными коврами твой путь устилала усталость,
окаянную голову северный ветер сечет.
Я не встречусь с тобой. Я с тобой никогда
не расстанусь.
Отдохни в моем сердце, покуда стучится еще.

Задержись хоть на миг — ты приходишь с таким
опозданьем.
Пусть до смертного часа осветит слова и труды
каждый жест твоих рук, обожженных моим
обожаньем,
Чудо жизни моей, я в долгу у твоей доброты.

* *
*

И опять — тишина, тишина, тишина.
Я лежу, изнемогший, счастливый и кроткий.
Солнце лоб мой печет, моя грудь сожжена,
и почиет пчела на моем подбородке.

Я блаженствую молча. Никто не придет.
Я хмелею от запахов нежных, не зная,
то трава, или хвои целительный мед,
или в небо роса испарилась лесная.

Все, что вижу вокруг, беспредельно любя,
как я рад, как печально и горестно рад я,
что могу хоть на миг отдохнуть от себя,
полежать на траве с нераскрытой тетрадью.

Это самое лучшее, что мне дано:
так лежать без движений, без жажды, без цели,
чтобы мысли бродили, как бродит вино,
в моем теплом, усталом, задумчивом теле.

И не страшно душе — хорошо и легко
слиться с листьями леса, с растительным соком,
с золотыми цветами в тени облаков,
с муравьиной землею и с небом высоким.

* *
*

Зову тебя, не размыкая губ:
— Ау, Лаура! —
Куда ни скажешь, в пекло и в тайгу
пойду понуро.

Мне свет твой снится в дымке снеговой,
текуч и четок.
Я никогда, нигде и никого
не звал еще так.

Давным-давно, веселый и земной,
я верил в чудо,
но разминулось милое со мной.
Мне очень худо.

И не страшна морская круговерть,
не дорог берег.
Не на крутых камнях я встречу смерть,
а в добрых дебрях.

Исполню все, чего захочешь ты,
правдив и целен,
хоть наши судьбы розны и чужды,
как юг и север.

Прими ж привет от бывшего шута
и балагура.
И пусть звучит у времени в ушах:
— Ау, Лаура!..

* *
*

Уже картошка выкопана,
и, чуда не суля,
в холодных зорях выкупана
промокшая земля.

Шуршит тропинка плюшевая:
весь сад от листьев рыж.
А ветер, гнезда струшивая,
скрежещет жестью крыш.

Крепки под утро заморозки,
под вечер сух снежок.
Зато глаза мои резки
и дышится свежо.

И тишина, и ясность...
Хорошая пора.
Кому-нибудь и я снюсь
в такие вечера.

* *
*

Во мне проснулось сердце эллина.
Я вижу сосны, жаб, ежа
и радуюсь, что роща зелена
и что вода в пруду свежа.

Не называйте неудачником.
Я всем удачам предпочел
сбежать с дорожным чемоданчиком
в страну травы, в отчизну пчел.

Люблю мальчишек, закопавшихся
в песок на теплом берегу,
и — каюсь — каждую купальщицу
в нескромных взорах берегу.

Благословенны дни безделия
с подругой доброй средь дубрав,
когда мы оба, как бестелые,
лежим, весь бор в себя вобрав.

Мы ездили на хутор Коробов,
на кручи солнца, в край лесов.
Он весь звенел от шурких шорохов
и соловьиных голосов.

Мы ничего с тобой не нажили,
привыкли к всяческой беде.
Но эти чащи были нашими,
мы в них стояли, обалдев.

Уху варили, чушь пороли,
ловили с лодки щук-раззяв
и ночевали на пароме,
травы на бревна набросав.

О, если б кто в ладонях любящих
сумел до старости донесть
в кувшинках, в камышовых трубочках
до дна светящийся Донец!..

Плескалась рыба, бились хвостики.
Реки и леса красота,
казалось, вся в пахучем воздухе
с росой и светом разлита.

Скорей, любимая, приблизься.
Я этот мир тебе дарю.
Я в нем любил лесные листья
и славил зелень и зарю.

Счастливый, брошусь под деревья.
Там в их дыханье обрету
к земле высокое доверье,
гармонию и доброту.

* *
*

Желтые желуди,
зеленые заводи.

В соломенном золоте
солнце на западе.

Как вкусно запахло
скотным двором!

Сумка да палка,
да мы вдвоем.

Свежо от купанья.
Костер. Перекур.

Да рокот комбайна
на том берегу.

Да капле уроненной
в листве шелестеть.

Моя ты родина —
лесостепь.

* *
*

Не мучусь по тебе, а праздную тебя.
И счастья не стыжусь, и горечи не помню.
Так вольно и свежо, так чисто и легко мне
смотреть на белый свет, воистину любя.

За радостью печаль — одной дороги звенья,
Не слышимый никем, я говорю с тобой.
В отчаянье и тьме я долго жил слепой
и праздную тебя, как празднуют прозренье.

Туманы и дожди над городом клубя,
осенняя пора ничуть не виновата,
что в сердце у меня так солнечно и свято.
Как чудо и весну, я праздную тебя.

У милой лучше всех и волосы, и губы,
но близостью иной близки с тобою мы.
Я праздную тебя. Вновь помыслы юны —
Сверкают, и кипят, и не идут на убыль.

Я праздную тебя, и в имени твоем
я славлю холод зорь, и звон бездольных
иволг,
и вязкий воздух рощ, так жалобно красивых.
В назойливых дождях твой облик растворен.

Теперь не страшно мне, что встречи той
случайной
могло бы и не быть. Врагов моих злобя,
как дивные стихи, я праздную тебя
и в нежной глубине храню свой праздник
тайный.

Конька моей души над бедами дыбя,
я буду долго жить, пока ты есть и помнишь.
Ликую и смеюсь, спешу добру на помощь.
На свете горя нет. Я праздную тебя.

* *
*

А хорошо бы летом закатиться
в лесную глушь — подальше от греха.
В сосновых рощах воздух золотистый.
Из пней прогнивших сыплется труха.

Пар от росы, как будто из дымарни.
Луга мокры. Болот не перебресть.
Куда ни глянь — цветы иван-да-марьи,
резун-трава, ромашка и чебрец...

И ни тебе ни страсти, ни мороки.
Молчишь светло, и зло тебе вползла.
В росе пасутся божии коровки,
одна из них на лоб тебе вползла.

Лежит пыльца на ягодах вкуснейших,
мошка в ноздрю забраться норовит,
треща и плача, прыгает кузнечик,
и суетятся мудро муравьи.

* *
*

По-разному тратится летняя радость:
кому чего надо, кто чем увлечен.
А я вот, усталый, на травы усядусь,
в пахучие зори зароюсь лицом.

Меня закалила работа и служба,
я лиха немало хлебнул на веку,
и сладок мне отдых и весело слушать
мычанье скотины да квохтанье кур.

Вся в каплях, подруга пришла и присела,
огонь раздувает, готовит уху.
Не худо подумать про ужин, про сено.
«Ну что, хорошо?» Отвечает: «Угу».

Палил меня полдень, кололи колосья,
лишь под вечер стало свежей и сырей,
и в кои-то веки хоть раз довелося
пожить на досуге в колхозном селе.

Тут хаты пропахли полынью и хлебом.
А я хоть не пахарь, да свой промеж них.
Хлебаем сметану, толкуем про пленум,
и сам я по крови — казак и мужик.

Приходят девчата, поникнув плечами,
налипшую землю счищают с подошв.
Темнеет в дворах, наступает молчанье —
лишь лают собаки да плещется дождь...

Вот так и кочую, как ветры велели,
с котомкой и палкой брожу, полугол,
да слушаю речек сырые свирели
и гулкие дудки болотных лугов.

БЕЛЫЕ КУВШИНКИ

Что за беда, что ты продрог и вымок?
Средь мошкары, лягушечьих ужимок
протри глаза и в прелести омой,
нет ничего прекраснее кувшинок,
плавучих, белых, блещущих кувшинок.
Они — как символ лирики самой.

Свежи, чисты, застенчиво-волшебны,
для всех, кто любит, чашами стоят.
А там, на дне,— не думали уже б мы,—
там смрадный мрак, пиявок черных яд.

На душном дне рождается краса их
для всех, а не для избранных натур.
Как ждет всю жизнь поэзию прозаик,
кувшинки ждут, вкушая темноту.

О, как горюют, царственные цацы,
как ужас им дыханье заволок,
в какой тоске сподыспода стучатся
стеблями рук в стеклянный потолок!

Из черноты пузырчатой и вязкой,
из тьмы и тины, женственно-белы,
восходят ввысь над холодом и ряской.
И звезды пьют из белой пиалы.

МАЛЬВЫ

Я слыл по селам добрым малым,
меня не трогала молва,—
но я не верил жирным мальвам,
их плоти розовой не рвал.

Она, как жар, цвела за тыном,
и мне мерещились уже
над каждым шорохом интимным
свиные раструбы ушей.

Над стоном стад, над тенью улиц,
над перепелками в овсе
цветы на цыпочках тянулись,
как бы шпионили за всем.

Они подслушивали мысли
и — сокрушители крамол —
из-за плетней высоких висли,
чтоб смех за хатами примолк.

От них несло крутыми щами.
Им в хлев похряпать хорошо б.
Хрустели, хрюкали, трещали
и были хроникой трущоб.

Людские шепоты и вопли,
бессонница и полумгла
в их вязкой зависти утопли,
им долговязость помогла.

И мальвы кровью наливались,
их малевали на холстах,
но в их внушительность, в их алость
не верил ни один простак.

Цветочки были хищной масти,
на тонких ножках, тяжелы,
они ломались от ненастий
и задыхались от жары.

А в лютый час полдневных марев
у палисадников, у хат
что выкомаривали мальвы,
как рассыпались наугад!

Их бархат был тяжел и огнен,
ему дивился баламут.
А мы под окнами подохнем
и нас на свалку сволокут.

КЛЯНУСЬ НА ЗНАМЕНИ ВЕСЕЛОМ

Однако радоваться рано.
И пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не воскреснуть злым оравам,
что труп врага — уже не знамя,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет. А я-то знаю:
не умер Сталин!

Как будто дело все в убитых,
в безвестно канувших на Север.
А разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться,—
не умер Сталин!

Пока во лжи неукротимы,
сидят холеные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждет доносчик,—
не умер Сталин!

И не по старой ли привычке
невежды стали наготове
навешать всяческие лычки

на свежее и молодое?
У славы путь неодинаков.
Пока на радость сытым стаям
подонки травят Пастернаков,—
не умер Сталин!

А в нас самих, труслив и хищен,
не дух ли сталинский таится,
когда мы истины не ищем,
а только нового боимся?
Я на неправду чертом ринусь,
не уступлю в бою со старым.
Но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин?

Клянусь на знамени веселом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадье не исчезло,
что не сверну и не покаюсь,
и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!

ПАСТЕРНАКУ

Твой лоб, как у статуи, бел
и взорваны брови.
Я весь помещаюсь в тебе,
как Врубель в Рублеве.

И сетую, слез не тая,
охаянным эхом,
и плачу, как мальчик, что я
к тебе не приехал.

И плачу, как мальчик, навзрыд
о зримой утрате,
что ты у трех сосен зарыт,
не тронешь тетради.

Ни в тот и ни в этот приход
мудрец и ребенок
уже никогда не прочтет
моих обреченных...

А ты устремляешься вдаль
и смотришь на ивы,
как девушка и как вода,
любим и наивен.

И меришь, и вяжешь навек
веселым обетом:
— Не может быть злой человек
хорошим поэтом...

Я стих твой пешком исходил,
ни капли не косвен,
храня фотоснимок один,
где ты с Маяковским,

где вдоволь у вас про запас
тревог и попоек.
Смотрю поминутно на вас,
люблю вас обоих.

О, скажет ли кто, отчего
случается часто:
чей дух от рожденья червон,
тех участь несчастна?

Ужели проныра и дуб
эпохе угоден,
а мы у друзей на виду
из жизни уходим.

Уходим о зимней поре,
не кончив похода...
Какая пора на дворе,
какая погода!..

Обстала, свистя и слепя,
стеклянная слякоть.
Как холодно нам без тебя
смеяться и плакать.

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Два огня светили в темень, два мигалища.
То-то рвалися лошадки, то-то ржали.
Провожали братца Федора Михалыча,
за ограду провожали каторжане...

А на нем уже не каторжный наряд,
а ему уже — свобода в ноздри яблоней,
а его уже карьерою корят:
потерпи же, петербуржец новоявленный.

Подружиться с петрашевцем все не против бы,
вот и ходим, и пытаем, и звоним,—
да один он между всеми, как юродивый,
никому не хочет быть своим.

На поклон к нему приходят сановитые,
но, поникнув перед болью-костоедкой,
ох, как бьется,— в пене рот, глаза навыкате —
все отведав, бьется Федор Достоевский.

Его щеки почернели от огня.
Он отступником слывет у разночинца.
Только что ему мальчишья болтовня?
А с Россией и в земле не разлучиться.

Не сойтись огню с волной, а сердцу с разумом,
И душа не разбежится в темноте ж,—
но проглянет из божницы Стенькой Разиным
притворившийся смирением мятеж.

Вдруг почудится из будущего зов.
Ночь — в глаза ему, в лицо ему — метелица,
и не слышно за бураном голосов,
на какие было б можно понадеяться.

Все осталось. Ничего не зажило.
Вечно видит он, глаза свои расширя,
снег, да нары, да железо... Тяжело
достается Достоевскому Россия.

НА ЖУЛЬКИНУ СМЕРТЬ

Товарищи, поплачьте один на свете раз
о маленькой собачке, что радовала вас,

что с нами в день весенний, веселья не тая,
перебирала всеми своими четырьмя,

и носик нюхал воздух, и задыхалась пасть,
и сумасшедший хвостик никак не мог опасть.

Мы так ее любили, не знали про беду.
Ее автомобилем убило на ходу.

Мне кажется все время, что это только сон,
как жалобно смотрели глаза под колесом.

А сердце угасает, и горлышко пищит
и просит у хозяев живительных защит.

Как тягостно и просто тянулась эта ночь.
Ни ласкою, ни просьбой уже ей не помочь.

Ласкали и купали, на трудные рубли
ей кости покупали — а вот не сберегли.

И стали как культяпки и выпал из-за щек
четыре куцых лапки и бедный язычок.

Ребята озорные, от горя потускнев,
в саду ее зарыли, как будто бы во сне.

Проснемся рано утром, а боль еще свежа.
Уже не подбежит к нам, ликуя и визжа.

В земле, травой поросшей, отлаявшись навек,
она была хорошей, как добрый человек.

Куда ж ты улетело, куда ж ты утекло,
из маленького тела пушистое тепло?

До смерти буду помнить, а в жизни не найду:
стоит над нею холмик в Шевченковском саду.

Животик был запачкан, вовсю смеялась пасть.
Прости меня, собачка, что я тебя не спас.

Не хватит в мире йода. Утрат не умаляй.
По гроб в нутро мое ты царапайся и лай.

ВЕРБЛЮД

Из всех скотов мне по сердцу верблюд.
Передохнет — и снова в путь, навьючась.
В его горбах угрюмая живучесть,
века неволи в них ее вольют.

Он тащит груз, а сам грустит по сини,
он от любовной ярости вопит,
Его терпенье пестуют пустыни.
Я весь в него — от песен до копыт.

Не надо дурно думать о верблюде.
Его черты брезгливы, но добры.
Ты погляди, ведь он древней домбры
и знает то, чего не знают люди.

Шагает, шею шепота вытягивая,
проносит ношу, царственен и худ,—
песчаный лебедин, печальный работяга,
хорошее чудовище верблюд.

Его удел — ужасен и высок,
и я б хотел меж розовых барханов,
из-под поклаж с презреньем нежным глянув,
с ним заодно пописать на песок.

Мне, как ему, мой Бог не потакал.
Я тот же корм перетираю мудро,
и весь я есмь моргающая морда,
да жаркий горб, да ноги ходока.

* *
*

В декабре в Одессе жуть:
каплет, сеет, брызжет, мочит.
В конуре своей сижу.
Скучно. Мокро. Нету мочи.

В голове плывут слова.
Гололедица и слякоть.
Ты вези меня, трамвай,
Чтоб в ладони не заплакать.

Что за черт? Да это ж Дюк!
А за что — забыла память.
И охота же дождю
по панелям барабанить.

До берез не доберусь:
на дорогу треба денег.
У меня на сердце грусть
от декабрьской дребедени.

День мой тошен и уныл —
наказание Господне...
До тебя — как до луны.
Что ты делаешь сегодня?

ОДЕССКИЕ СКВОРЦЫ

Кому — сияла синева
и солнце шкуру красило,—
а я у моря зимовал,
раз не дорос до классика.

...Который час, который день
сижу в гостях у детства я?
Как солнце на сковороде,
шкварчат скворцы одесские.

Такого дива я не знал.
Зима, поди, недели две,
мороз сверкает,— а весна
беснуется на дереве.

Сюда с лесов их Север сдул,
согнал их стаю резвую.
Скворцов услышишь за версту.
Скворцы во всю свирепствуют.

Мильоны правят ритуал
на теплый юг манящихся.
Обкакав с веток тротуар,
манежится монашество.

Бегут прохожие в обход,
не то они напустятся.
Скворцы встречают новый год,
где банк стоит на Пушкинской.

На черта скворушке камин?
Ни служб, ни паспортин ему.
Я тоже холодом гоним,
я беден по-скворчиному.

Мне скверно спится от скворцов.
Вот загрустил о детстве я,
и все настойчивей сквозь сон
шкварчат скворцы одесские.

НАТАШЕ

Кого люблю — так это домовых.
Чего боюсь — так это недомолвок.
Когда-нибудь, достав из книгомолок,
всю жизнь мою прочтут в стихах моих.

Уж верно там найдется след Наташин.
Но кто еще таинственней, чем ты?
И чадом рощ горчат твои черты,
и вздох из губ, как бусинки, протяжен.

Мы так легко судьбе проклятья шлём,
но в нас самих причина коренится
беды, когда теряется граница,
намеченная меж добром и злом.

О, как по чуду не истосковаться,
повинных рук в отчаянье не грызть,
коль с красотой якшается корысть,
с любовью — блуд и с верностью —
коварство?

Вот так и ты, угласта и резка,
о длинноножка, всюду ищешь риска,—
и ведаешь, что высоко, что низко,
да грань-то вся не толще волоска.

А меры нет метелям и наветам.
На ком еще, когда не на друзьях,
срывать всю злость попавшему впросак?
Не ты одна — мы все повинны в этом.

Как не дрожать от пяток до волос,
коль — шиш нам в нос и стенкой о плечо нас,
весь этот бред, бездомность, обреченность,
что нам сполна изведать довелось...

Такая ты. С давнишних вечеров я
такой тебя запомнил и храню.
Такой тебе у полдня на краю
шепчу стихами доброго здоровья.

Уста твои да не ужалит ложь,
но да сластит их праздничная чаша.
Ты тем вином натешишься ль, Наташа?
А старых дружб водой не разольешь.

Давненько мы души не отводили,
ох, как давно не сиживали мы
в тепле жилья, спасаясь от зимы
гореньем слов да бульканьем бутыли.

Разброд — меж нас — не к радости моей,
он люб врагам, а совести досаден.
Когда ж опять сойдемся и засядем
и я скажу: «Наташенька, налей»?

Пусть вяжут вновь веселье и стихи нас,
а зло уйдет, как талая вода.
Мне память дружбы до смерти свята.
Живу на свете, сердцем не щетинясь.

Влачу в лачуге старческие дни,
ханжей хожалых радостью шараша.
Но ты, как встарь, одна у нас, Наташа,
да ведь и мы-то у тебя одни.

* *
*

Я слишком долго начинался
и вот стою, как манекен,
в мороке мерного сеанса,
неузнаваемый никем.

Не знаю, кто виновен в этом,
но с каждым годом все больней,
что я друзьям моим неведом,
враги не знают обо мне.

Звучаньем слов, значеньем знаков
землянин с люлечки пленен.
Рассвет рассудка одинаков
у всех народов и племен.

Но я с мальчишества наметил
прожить не в прибыльную прыть
и не слова бросать на ветер,
а дело людям говорить.

И кровь и крылья дал стихам я,
и сердцу стало холодней:
мои стихи, мое дыханье
не долетело до людей.

Уже листва уходит с веток
в последний гибельный полет,
а мною сложенных и спетых —
никто не слышит, не поет.

Подошвы стерты о каменья,
и сам согбен, как аксакал.
Меня младые поколенья
опередили, обскакав.

Не счесть пророков и провидцев,
что ни кликуша, то и тип,
а мне к заветному пробиться б,
до сокровенного дойти б.

Меня трясет, меня коробит,
что я бурбон и нелюдим,
и весь мой пот, и весь мой опыт
пойдет не в пользу молодым.

Они проходят шагом беглым,
моих святынь не видно им,
и не дано дышать тем пеклом,
что было воздухом моим.

Как будто я свалился с Марса.
Со мной ни брата, ни отца.
Я слишком долго начинался.
Мне страшно скорого конца.

* *
*

Меня одолевает острое
и давящее чувство осени.
Живу на даче, как на острове,
и все друзья меня забросили.

Ни с кем не пью, не философствую,
забыл и знать, как сердце влюбчиво.
Долбаю землю пересохшую
да перечитываю Тютчева.

В слепую глубь ломлюсь напористей
и не тужу о вдохновении,
а по утрам трясусь на поезде
служить в трамвайном управлении.

В обед слоняюсь по базарам,
где жмот зовет меня папашей,
и весь мой мир засыпан жаром
и золотом листвы опавшей...

Не вижу снов, не слышу зова,
и будням я не вождь, а данник.
Как на себя, гляжу на дальних,
а на себя, как на чужого.

С меня, как с гаврика на следствии,
слетает позы позолота.

Никто — ни завтра, ни впоследствии
не постучит в мои ворота.

Я — просто я. А был, наверное,
как все, придуман ненароком.
Все тише, все обыкновеннее
я разговариваю с Богом.

* *
*

Как стали дни мои тихи...
Какая жалость!..
Не в масть поре мои стихи,
как оказалось.

Для жизни надобно служить
и петь «тарам-там»,—
а как хотелось бы прожить
одним талантом.

Махну, подумавши, рукой:
довольно бредней,—
не я единственный такой,
не я последний.

Добро ль, чтоб голос мой гремел,
была б охота,
а вкалывал бы, например,
безмолвный кто-то?

Всему живому друг и брат
под русским небом,
я лучше у церковных врат —
за нищим хлебом.

Пускай стихам моим пропасть,
без славы ляснув,—
зато, веселым, что им власть
мирских соблазнов?

О, что им, вольным, взор тупой,
корысть и похоть,
тщеславье тех, кто нас с тобой
берет под ноготь?

Моя безвестная родня,
простые души,
не отнимайте у меня
нужды и стужи.

В полдневный жар, в полночный мрак,
строкой звуча в них,
я никому из вас не враг
и не начальник.

Чердак поэта — чем не рай?
Монтень да тюлька.
Еще, пожалуйста, сыграй,
моя свистулька.

Россия — это не моря,
леса, долины.
С ее душой душа моя
неразделимы.

*   *
  *

Весна — одно, а оттепель — иное:
сырая грязь, туманов серый дым,
слабеет лед, как зуб, крошась и ноя,
да жалкий дождь трещит на все лады.

Ее приметы сумрачны и зыбки,
в ее теплыни холод затаен,
и снег — не снег, и тает по ошибке,
да жалкий дождь клубится сатаной.

Все планы — в прах, все вымыслы
повыбрось,
не доверяй минутному теплу.
Куда ни глянь — все мокрота да рыхлость,
да жалкий дождь стекает по стеклу.

И мы хмелеем, даром, что тверезы,
разинув рты на слякотную хмарь,
но молча ждут мордастые морозы,
да жалкий дождь бубнит, как пономарь.

* *
*

Нам стали говорить друзья,
что им бывать у нас нельзя.

Что ж, не тошней, чем пить сивуху,
прощаться с братьями по духу,

что валят прямо и тайком
на времена и на райком,—

окончат шуткой неудачной
и вниз по лестнице чердачной.

А мы с тобой глядим им вслед
и на площадке тушим свет.

* *
*

Колокола голубизне
рокочут медленную кару,
пойду по желтому пожару,
на жизнь пожалуюсь весне.

Тебя поносят фарисеи,
а ты и пикнуть не посмей.
Пойду пожалуюсь весне,
озябну зябликом в росе я.

Часы веселья так скупы,
так вечно косное и злое,
как будто все в меня весною
вонзает пышные шипы.

Я, как бессонница, духовен
и беззащитен, как во сне.
Пойду пожалуюсь весне
на то, что холод не уходит.

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ

Поэты пушкинской поры
в своих сердцах несли сквозь годы
Ответственности и Свободы
неразделенные миры.

О тайной вольности восходы!
О веры вешние пиры!
В них страсть и вера, ум и совесть,
обнявшись, шли одним путем,—
да разошлись они потом,
как Фет с Некрасовым, поссорясь.

Поэты пушкинской поры,
чья в царстве льдов завидна доля,
беспечны были и добры,
сады святынь растя и холя.
И нам бесценны их дары.
Как высота святой горы,
где свет, и высь, и даль, и воля,
пред низиной мирского поля,—
поэты пушкинской поры.

* *
*

Про то, что сердце, как в снегу,
в тоски таинственном настое,
как Маяковский, не смогу,
а под Есенина не стоит.

Когда б вмешательством твоим
я был от горшего избавлен,
про все, что на сердце таим,
я б написал, как Чичибабин.

Да вот беда и канитель:
его нет дома, он в отлучке,
дверь заперта, пуста постель,
и жар-перо ржавеет в ручке.

* *
*

Одолевали одолюбы.
У них — не скрипка, не рожок.
Они до хрипа дули в трубы,
где помолчать бы хорошо.

Одолевали водоливы.
Им лист печатный маловат.
Еще туда-сюда вдали бы,
а то под ухом норовят.

А правда не была криклива,
у правды — скромное жилье,
но вся земля ее прикрыла,
и все услышали ее.

* *
*

Вся соль из глаз повытекала,
безумьем волос шевеля,
во славу вам, политиканы,
вам, физики, вам, шулера.

Спасая мир от милой дури,
круты вы были и мудры.
Не то, что мы — спиртягу дули
да умирали от муры.

Выходят боком эти граммы.
Пока мы их хлестали всласть,
вы исчисляли интегралы
и завоевывали власть.

Владыками, а не гостями,
хватали время под уздцы,—
подготовители восстаний
и открыватели вакцин.

Вы сделали достойный вывод,
что эти славные дела
людское племя осчастливят,
на ложь накинут удила.

По белу свету телепаясь,
бренча, как битая бутыль,
сомненья списаны в утиль,
да здравствует утилитарность!

А я, дивясь на эту жуть,
тянусь поджечь ее цигаркой,
вступаю в заговор цыганский,
зову пророков к мятежу.

О чары чертовых чернильниц
с полуночи и до шести!..
А вы тем временем женились
на тех, кто мог бы мир спасти.

Не доверяйте нашим лирам:
отпетым нечего терять.
Простите, что с суконным рылом
втемяшился в калашный ряд.

Но я не в школах образован,
а больше в спорах да в гульбе.
Вы — доктора, а я — плебей,
и мне плевать на все резоны.

Пойду мальчишкой через век
сухой и жаркою стернею.
Мне нужен Бог и Человек.
Себе оставьте остальное.

* *
*

Люди — радость моя,
вы, как неуходящая юность,—
полюбите меня,
потому что и сам я люблю вас.

Смелым словом звеня
в стихотворном свободном полете,
это вы из меня
о своем наболевшем орете.

Век нас мучил и мял,
только я на него не в обиде.
Полюбите меня,
пока жив я еще, полюбите!

За характер за мой
и за то, что тружусь вместе с вами.
Больше жизни самой
я люблю нашей радости знамя.

Не дешевый пижон,
в драгоценные рифмы разоткан,—
был всего я лишен,
припадая к тюремным решеткам.

Но и там, но и там,
где зима мои кости ломала,
ваших бед маята
мою душу над злом поднимала.

Вечно видится мне,
влазит в сердце занозою острой:
в каждом светлом окне
меня ждут мои братья и сестры.

Не предам, не солгу,
ваши боли мой мозг торопили.
Пусть пока что в долгу —
полюбите меня, дорогие!

Я верну вам потом,
я до гроба вам буду помощник.
Сорок тысяч потов,
Сорок тысяч бессонниц полночных.

Ну, зачем мне сто лет?
Больше жизни себя не раздашь ведь.
Стало сердце стареть,
стала грудь задыхаться и кашлять.

Не жалейте ж огня.
От хлопка не отсохнут ладоши?
Полюбите меня,
чтобы мне продержаться подольше.

* *
*

Я по тебе грущу, духовность,
не робот я и не злодей,
тебе ж, духовность, охо-хо в нас,
и ты уходишь из людей.

Весь Божий свет сегодня свихнут,
и в нем поэзия одна,
как утешение и выход,
слепому времени дана.

Да не разнюхает начальник,
а и, разнюхав, не поймет,
о чем очей ее печальных
над повседневностью полет!

Эй, кто не свиньи и не волки,
кто держит небо на плечах,
давайте выпьем рюмку водки
за землю в травах и лучах,

За моря плеск и счет кукушкин,
за человеческую честь,
за то, что есть у сирых Пушкин
и Мандельштам у кротких есть!

Се аз храню на свете белом
свободных лириков союз,
не покорюсь грядущим бедам,
грядущей лжи не убоюсь.

Берите впрок мои тетрадки:
я весь добра и света весть,
не потому, что все в порядке,
а потому, что в мире есть

ПОЭЗИЯ.

* *
*

Когда трава дождем сечется
и у берез стволы сочатся,
одна судьба у пугачевца —
на виселице покачаться.

И мы качаемся, босые,
в полях, обшмыганных и черных.
О нас печалится Россия
очами синими девчонок.

А ночь на Русь упала чадом,
и птицу-голову — на жердь вы,
хоть на плечах у палача там
она такая ж, как у жертвы.

А борода его смеется,
дымящаяся и живая,
от казака до инородца
дружков на гульбище сзывая.

А те дружки не слышат зова
и на скоромное не падки.
Учуяв голос Пугачева,
у них душа уходит в пятки.

А я средь ночи и тумана
иду один, неотреченный,
за головою атамана,
за той, отчаянной и черной.

* *
*

Живу на даче. Жизнь чудна.
Свое повидло...
А между тем еще одна
душа погибла.

У мира прорва бедолаг:
о сей минуте
кого-то держат в кандалах,
как при Малюте.

Я только-только дотяну
вот эту строчку,
а кровь людская не одну
зальет сорочку.

Уже за мной стучатся в дверь,
уже торопят,
и что ни враг — то лютый зверь,
что друг — то робот.

Покойся в сердце, мой Толстой,
не рвись, не буйствуй,—
мы все привычною стезей
проходим путь свой.

Глядим с тоскою, заперты,
вослед ушедшим,
Что льда у лета, доброты
просить у женщин.

Какое пламя на плечах,
с ним нету сладу,—
принять бы яду натощак,
принять бы яду.

И ты, любовь моя, и ты,—
ладони, губы ль,—
от повседневной маяты
идешь на убыль.

Как смертью веки сведены,
как смертью веки,
так все живем на свете мы
в Двадцатом веке.

Не зря грозой ревет Господь
в глухие уши:
— Бросайте все! Пусть гибнет плоть.
Спасайте души!

*   *
  *

Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Среди сосен и скал там нам было на все начихать.
Там у синего моря цветы на камнях розовели,
и дремалось цветам под языческий цокот цикад.

Мы забыли беду, мы махнули рукой на заботы,
мы сказали нужде: «Подожди-ка нас дома, нужда».
Дома ссорились мы. Я тебе говорил: «Ну, чего ты?»
И в глаза целовал, и добра ниоткуда не ждал.

Так уж вышло у нас. Ничего мы с тобой не сумели.
Я дымлю табаком, надо мной воздушок сине-сиз.
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Там мы рвали кизил и ходили пешком в Симеиз.

Бесшабашное солнце плыло в галактических высях
над просоленной галькой — обломышем древних
пород...
Я от кривды устал, я от горнего голода высох,
не смеются глаза и улыбкой не красится рот.

Убежим от себя — хоть на край, хоть на день,
хоть на час мы.
Ну-ка, платье надень, ну-ка, ношу на камни
свали,—
и забудем о том, что запутаны мы и несчастны,
и в смеющейся влаге утопим тревоги свои...

Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Он висел между скал и глаза нам лазурью колол.
Жарко-ржавые пчелы от сока живьем осовели,
черкал ящерок яркий. Скакал по камням богомол.

Там нам было тепло. А бывало от стуж коченели.
Государственный холод глаза голубые гасил...
Есть поселок в Крыму. Называется он Кацивели.
Там шершава трава и неслыханно кисел кизил.

* *
*

Не брат с сестрой, не с другом друг,
без волшебства, без чуда
живем с тобой, как все вокруг —
ни хорошо, ни худо.

Не брат с сестрой, не с другом друг,
еще смеемся: «Эка
беда!» — меж тем, как наш недуг
совпал с бедою века.

Не брат с сестрой, не с другом друг,
а с женщиной мужчина,
мы сходим в ад за кругом круг,
и в этом вся причина.

Не брат с сестрой, не с другом друг,
и что ни шаг — то в бездну,—
и хоть на плаху, но из рук,
в которых не воскресну.

* *
*

Уходит в ночь мой траурный трамвай.
Мы никогда друг другу не приснимся.
В нас нет добра, а потому давай
простимся.

Кто сочинил, что можно быть вдвоем,
лишившись тайн в пристанище убогом,
в больном раю, что, верно, сотворен
не Богом?

При желтизне вечернего огня
как страшно жить и плакать втихомолку.
Четыре книжки вышло у меня,
а толку?

Я сам себе растлитель и злодей,
и стыд и боль как должное приемлю
за то, что все выдумывал — людей
и землю.

А хуже всех я выдумал себя.
Как мы в ночах прикармливали зверя,
как мы за ложь цеплялись, не любя,
не веря.

Как я хотел хоть малое спасти.
Но нет спасенья, как прощенья нету.
До судных дней мне тьму свою нести
по свету.

Я все снесу. Мой грех, моя вина.
Еще на мне и все грехи России.
А ночь темна, дорога не видна...
Чужие...

Страшна беда совместной суеты,
и в той беде ничто не помогло мне.
Я зло забыл. Прошу тебя: и ты
не помни.

Возьми все блага жизни прожитой,
по дням моим пройди, как по подмостью.
Но не темни души своей враждой
и злостью.

* *
*

И вижу зло, и слышу плач,
и убегаю, жалкий, прочь,
раз каждый каждому — палач,
и никому нельзя помочь.

Я жил когда-то и дышал,
но до рассвета не дошел.
Темно в душе от Божьих жал,
хоть горсть легка, да крест тяжел.

Во сне вину мою несу
и — сам отступник и злодей —
безлистым деревом в лесу
жалею и боюсь людей.

Меня сечет Господня плеть,
и под ярмом горбится плоть,
и ноши не преодолеть,
и ночи не перебороть.

И были дивные слова,
да мне сказать их не дано,
и помертвела голова,
и сердце умерло давно.

Я причинял беду и боль,
и от меня отпрянул Бог
и раздавил меня, как моль,
чтоб я взывать к Нему не мог.

* *
*

Тебя со мной попутал бес
шататься зимней чащей,
где ты сама была как лес,
тревожный и молчащий.

В нем снег от денного тепла
лежал тяжел и лепок,—
и стыли ножки у тебя
в ботиночках нелепых.

Мы шли по лесу наугад,
навек, напропалую,
и ни один не видел гад,
как я тебя целую.

Дышал любимой на виски
и молча гладил руки,
и задыхался от тоски
и нестерпимой муки.

Нам быть счастливыми нельзя,
а завтра будет хуже,
и лишь древесные друзья
заглядывали в души.

Да с лаской снежная пыльца,
неладное почуяв,
касалась милого лица
и горьких поцелуев.

* *
*

В январе на улицах вода,
темень с чадом.
Не увижу неба никогда
сердцем сжатым.

У меня из горла — не слова,
боли комья.
В жизни так еще не тосковал
ни по ком я.

Ты стоишь, как Золушка, в снегу,
ножки мочишь.
Улыбнись мне углышками губ,
если можешь.

В январе не разыскать следов.
Сны холонут.
Отпусти меня, моя любовь,
камнем в омут.

Мне не надо больше смут и бед,
славы, лени.
Тихо душу выдохну тебе
на колени.

Упаду на них горячим лбом.
Ох, как больно!
Вся земля — не как родильный дом,
а как бойня.

В первый раз приходит Рождество
в черной роли.
Не осталось в мире ничего,
кроме боли.

И в тоске, и в смерти сохраню
отсвет тайны.
Мы с тобой увидимся в раю,
до свиданья.

* *
*

Сними с меня усталость, матерь Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспошли остуду и дремоту
на мое тело длинное, как жердь.

Я так устал. Мне стало все равно.
Ко мне всего на три часа из суток
приходит сон, томителен и чуток,
и в сон желанье смерти вселено.

Мне книгу зла читать невмоготу,
а книга блага вся перелисталась.
О матерь Смерть, сними с меня усталость,
покрой рядном худую наготу.

На лоб и грудь дохни своим ледком,
дай отдохнуть светло и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
что всем другим привычно и легко.

Я верил в дух, безумен и упрям,
я Бога звал — и видел ад воочью,—
и рвется тело в судорогах ночью,
и кровь из носу хлещет по утрам.

Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал. Как раб или собака.
Сними с меня усталость, матерь Смерть.

КОЛОКОЛ

Возлюбленная! Ты спасла мои корни!
И волю и дождь в ликовании пью.
Безумный звонарь на твоей колокольне,
в ожившее небо, как в колокол, бью.

О, как я, тщедушный, о крыльях мечтал,
о, как я боялся дороги окольной.
А пращуры душу вдохнули в металл
и стали народом под звон колокольный.

Да буду и гулок, как он, и глубок.
Да буду, как он, совестлив и мятежен.
В нем кротость и мощь. И ваятель Микешин
всю Русь закатал в тот громовый клубок.

* *
*

Ф. Кривину

Я груз небытия вкусил своим горбом:
смертельна соль воды, смертельна горечь хлеба.
Но к жизни возвращен обыденным добром —
деревьями земли и облаками неба.

Я стер с молчащих губ отчаянья печать,
под нежной синевой забыл свои мученья.
Когда не слышно слов — всему дано звучать,
все связано со всем, и все полно значенья.

И маску простоты с реальности сорвав,
росой тяжелых зорь умыв лицо и руки,
как у священных книг, у желтоглазых трав
играючи учусь безграмотной науке.

Из кроткой доброты и мудрого стыда
кую свою броню, трудом зову забавы
и тихо говорю: «Оставьте навсегда
отчаянье и страх, входящие сюда вы».

На благодарный пир полмира позову,
навстречу счастью засвечу ресницы,—
и ничего мне больше не приснится:
и ад и рай — все было наяву.

* *
*

Больная черепаха —
ползучая эпоха,
смотри: я — горстка праха,
и разве это плохо?

Я жил на белом свете
и даже был поэтом,—
попавши к миру в сети,
раскаиваюсь в этом.

Давным-давно когда-то
под песни воровские
я в звании солдата
бродяжил по России.

Весь тутошний, как Пушкин
или Василий Теркин,
я слушал клеп кукушкин
и верил птичьим толкам.

Я — жрец лесных религий,
мне труд — одна морока,
по мне и Петр Великий
не выше скоморoха.

Как мало был я добрым,
хоть с мамой, хоть с любимой,
за что и бит по ребрам
судьбиной, как дубиной.

В моей дневной одышке,
в моей ночи бессонной
мне вечно снятся вышки
над лагерною зоной.

Не верю в то, что руссы
любили и дерзали.
Одни врали и трусы
живут в моей державе.

В ней от рожденья каждый
железной ложью мечен,
а кто измучен жаждой,
тому напиться нечем.

Вот и моя жаровней
рассыпалась по рощам.
Безлюдно и черно в ней,
как в городе полнощном.

Юродивый, горбатенький,
стучусь по белу свету,—
зову народ мой батенькой,
а мне ответа нету.

От вашей лжи и люти
до смерти не избавлен,
не вспоминайте, люди,
что я был Чичибабин.

Уже не быть мне Борькой,
не целоваться с Лилькой.
Опохмеляюсь горькой.
Закусываю килькой.

* *
*

Б. Я. Ладензону

Редко видимся мы, Ладензоны,—
да простит нас за это аллах,—
отрешенные, как робинзоны,
на тверезых своих островах.

Или дух наш не юн и не вечен,
или в мыслях не стало добра,
что сегодня делиться нам нечем,
как, бывало, делились вчера?

Я не верю в худые заклятья,
не хочу ни затворов, ни стен,
только не размыкайтесь, объятья,
только б не расставаться ни с кем.

И приду еще я, и разуюсь,
и, из дружеской чаши поим,
вновь покоем твоим залюбуюсь
и порадуюсь шуткам твоим.

Наши дни холодны и туманны,
наша кривда нависла тузом.
Не хватило мне брата у мамы.
Будь мне братом, Борис Ладензон.

Назови это вздором и чушью,
только я никогда не пойму,
где предел твоему добродушью,
где он юмору, где он уму,

где он той доброте некрикливой,
что от роду тиха и проста
и венчается русской крапивой
вместо терний Исуса Христа.

И хоть стали нечастыми встречи,
и хоть мы ни на Вы, ни на ты,
эти встречи — как Божии свечи
в черноте мировой темноты.

Трижды слава таинственной воле,
что добра она к русской земле,
что не в сытости мы и не в холе,
а всего лишь во лжи да во зле.

Век наш короток, мир наш похабен,
с ними рядом брести не резон.
Я один на земле Чичибабин.
Будь мне братом, Борис Ладензон.

* *
*

М. Д. Рахлиной

Марленочка, не надо плакать,
мой друг большой,
все суета, все тлен и слякоть,
живи душой.

За место спорят чернь и челядь.
Молчит мудрец.
Увы, ничем не переделать
людских сердец.

Забыв свое святое имя,
прервав полет,
они не слышат, как над ними
орган поет...

Не пощадит ни книг, ни фресок
безумный век.
И зверь не так жесток и мерзок,
как человек.

Прекрасное лицо в морщинах,
труды и хворь,—
ты — прах, и с тем, кто на вершинах,
вотще не спорь.

Все мрачно так, хоть в землю лечь нам,
над бездной путь.
Но ты не временным, а вечным
живи и будь...

Сквозь адский спор добра и худа,
сквозь гул и гам,
как нерасслышанное чудо,
поет орган.

И Божий мир красив, и дивен,
и полон чар,
и, как дитя, поэт наивен,
хоть веком стар.

Звучит с небес Господня месса,
и ты внизу
сквозь боль услышь ее, засмейся,
уйми слезу.

Поверь лишь в истину, а флагам
не верь всерьез.
Придет пора — и станет благом,
что злом звалось...

Пошли ж беду свою далече,
туман рассей,
переложи тоску на плечи
твоих друзей.

Ни в грозный час, ни в час унылый,
ни в час разлук
не надо плакать, друг мой милый,
мой милый друг.

ЛЕШКЕ ПУГАЧЕВУ

Шумит наша жизнь меж завалов и ямин.
Живем, не жалея голов.
И ты — россиянин, и я — россиянин,—
здорово, мой брат Пугачев.

Расставим стаканы, сготовим глазунью,
испивши, на мир перезлись,—
и нам улыбнется добром и лазурью
Христом охраненная высь.

А клясться не стану и каяться не в чем.
Когда отзвенят соловьи,
мы только одной лишь России прошепчем
прощальные думы свои.

Она — в наших взорах, она — в наших нервах,
она нам родного родней,—
и нет у нее ни последних, ни первых,
и все мы равны перед ней.

Измерь ее бездны рассудком и сердцем,
пред нею душой не криви.
Мы с детства чужие князьям и пришельцам,
юродивость в нашей крови.

Дожди и деревья в мой череп стучатся,
крещенская стужа строга,
а летом шумят воробьиные царства
и пахнут веками стога.

Я слушаю зори, подобные чуду,
я трогаю ветки в бору,
а клясться не стану и спорить не буду,
затем что я скоро умру.

Ты знаешь, как сердцу погромно и душно,
какая в нем ночь запеклась,
и мне освежить его родиной нужно,
чтоб счастий чужих не проклясть.

Мне думать мешают огни городские,
и, если уж даль позвала,
возьмем с собой Лильку, пойдем по России
смотреть, как горят купола.

СОНЕТЫ К КАРТИНКАМ

1. ПАРУСА

Есть в старых парусах душа живая.
Я с детства верил вольным парусам.
Их океан окатывал, вздувая,
и звонкий ветер ими потрясал.

Я сны ребячьи видеть перестал
и, постепенно сердцем остывая,
стал в ту же масть, что двор и мостовая,
сказать по-русски — крышка парусам.

Иду домой, а дома нынче — стирка.
Душа моя состарилась и стихла.
Тропа моя полынью поросла.

Мои шаги усталы и неловки,—
и на простой хозяйственной веревке
тряпьем намокшим сохнут паруса.

2. ВЕЧЕРОМ С ПОЛУЧКИ

Придет черед, и я пойду с сумой.
Настанет срок, и я дойду до ручки.
Но дважды в месяц летом и зимой
мне было счастье вечером с получки.

Я набирал по лавкам что получше,
я брился, как пижон, и, Бог ты мой,
с каким я видом шествовал домой,
неся покупки, вечером, с получки.

С весной в душе, с весельем на губах
идешь-бредешь, а на пути — кабак.
Зайдешь — и все продуешь до полушки.

Давно темно, выходишь, пьяный в дым,
и по пустому городу один —
под фонарями, вечером, с получки.

3. ПОСТЕЛЬ

Постель — костер, но жар ее священней:
на ней любить, на ней околевать,
на ней, чем тела яростней свеченье,
душе темней о Боге горевать.

У лжи ночной кто не бывал в ученье?
Мне все равно — тахта или кровать.
Но нет нигде звезды моей вечерней,
чтоб с ней глаза не стыдно открывать.

Меня постель казенная шерстила.
А есть любовь черней, чем у Шекспира.
А есть бессонниц белых канитель.

На свете счастья — ровно кот наплакал,
и, ох, как часто люди, как на плаху,
кладут себя в постылую постель.

4. ОСЕНЬ

О синева осеннего бесстыдства,
когда под ветром, желтым и косым,
приходит время помнить и поститься
и чад ночей душе невыносим.

Смолкает свет, закатами косим.
Любви — не быть, и небу — не беситься.
Грустят леса без бархата, без ситца,
и холодеют локти у осин.

Взывай к рассудку, никни от печали,
душа — красотка с зябкими плечами.
Давно ль была, как птица, весела?

Но синева отравлена трагизмом,
и пахнут чем-то горьким и прокислым
хмельным-хмельные вечера.

5. ЧТО Ж ТЫ, ВАСЯ?

Хоть горевать о прошлом не годится,
а все ж скажу без лишней чепухи:
и я носил погоны пехотинца
и по тревоге прыгал в сапоги.

У снов солдатских вздохи глубоки.
Узнай, каков конец у богатырства —
свистя душой, с высотки покатиться
и поползти за смертью в лопухи.

А в лопухах, служа червям кормежкой,
лихой скелет с распахнутой гармошкой,
в ее лады запутался осот.

Тряся костьми и в хохоте ощерен,
в пустые дырки смотрит чей-то череп
и черным ртом похабщину несет.

6. СТАРИК-КЛАДОВЩИК

Старик-добряк работает в райскладе.
Он тих лицом, он горестей лишен.
Он с нашим злом в таинственном разладе,
весь погружен в певучий полусон.

Должно быть, есть же старому резон,
забыв лета и не забавы ради,
расколыхав серебряные пряди,
брести в пыли с гремучим колесом.

Ему — в одышке, в оспе ли, в мещанстве —
кричат людишки: «Господи, вмешайся!
Да будет мир избавлен и прощен!»

А старичок в ответ на эту речь их
твердит в слезах: «Да разве я тюремщик?
Мне всех вас жаль. Да я-то тут при чем?»

7. ХОРАЛ

Дай заглянуть в глаза твои еще хоть.
Скажи хоть раз, что ты была не сном...
Под сапогами, черными, как деготь,
кричит заря в отчаянье смешном.

Святые спят. Их плачем не растрогать.
Перепились на пиршестве ночном.
Лишь чей-то возглас: «Господи, начнем!»
И детский крик. И паника. И похоть.

На небесах горит хорал кровавый.
Он сбрасывает любящих с кроватей.
Он рушит стены, грозен и коряв.

Кричит в ночи раздавленное детство,
и никуда от ужаса не деться,
пока гремит пылающий хорал.

8. *ПЛЕМЯ ЛИШНИХ*

Мы — племя лишних в городе большом
с дворами злыми, с улицами старыми,
где люди глушат водку и боржом,
и врут в глаза, и трусят, как при Сталине.

Сто стукачей к нам сызмала приставлены,
казенный дом на тысячу персон.
А мы над всеми верами поржем.
А сами вовсе верить перестали мы.

Мы — племя лишних в этой жизни чертовой,
и мы со зла кричим: «А ну, еще давай!»
Нас давит век тяжелый, как булыжник.

В ракетных свистах да в разрывах атомных
мы — племя лишних, никому не надобных.
И мы плюем на все. Мы — племя лишних.

9. НЕ ВИЖУ, НЕ СЛЫШУ, ЗНАТЬ НЕ ХОЧУ

Не вижу неба в петлях реактивных,
не вижу дымом застланного дня,
не вижу смерти в падающих ливнях,
ни матерей, что плачут у плетня.

Не слышу, как топочет солдатня,
гремят гробы, шевéлятся отцы в них,
не слышу, как в рыданьях безотзывных
трясется мир и гибнет от огня.

Знать не хочу ни жалости, ни злобы,
знать не хочу, что есть шуты и снобы,
что боги врут в руках у палача.

Дремлю в хмелю, историю листаю,—
не вижу я, не слышу я, не знаю,
что до конца осталось полчаса.

10. ЖЕНЩИНА У МОРЯ

Над вечным морем свет сменила мгла.
Плывут валы, как птицы, в белых перьях.
Всей красоты не разглядеть теперь их,
лишь пыль от них на камушки легла.

И женщина, пришедшая на берег,
в напевах волн стоит голым-гола,
как хрупкий храм. И соль на бедрах белых,
и славят ночь ее колокола.

Две наготы. Два неба. Два набата.
Грозна душа' седого шалуна,
и, вся его дыханием объята,

как синева, хмельна и солона,
стоит у моря женщина ночная,
сама себя не видя и не зная.

11. ВЕСЕННИЙ ДОМ

Я помню дом один весною в городе.
Его за то я в памяти храню,
что по его карнизам ходят голуби
и снег лежит у крыши на краю.

Еще мокрынь, еще деревья голы те,
но, вся отдавшись нежному вранью,
горит девчонка в том весеннем холоде,
в мальчишеских ладонях, как в раю.

Взлетают неба синие качели.
А дом стоит, тяжелый от капели,
а льды звенят, а снег никак не стается.

Мне холода вовек не возомнятся.
Моим девчонкам всем по восемнадцать.
Я никогда не доживу до старости.

12. ВЕТЕР

Дуй, ветер, так, чтоб нам дышать невмочь,
греми в ушах, перед глазами черкай,
прочней вяжи моих морозов мощь
с ее весной, мучительной и зоркой.

Не бойся ветра, нежная, как ночь,
ни буйства страсти, сумрачной и горькой.
Мы крещены бедой и черствой коркой.
И только ветер смеет нам помочь.

У жизни есть на всякого указки.
Но мы вступаем в заговор цыганский.
Возврата нет. Все брошено в былом.

Ладонь в ладонь! Черны или червонны —
любовь и ветер — больше ничего мы
в тревожный путь с собою не берем.

* *
*

Куда мне бежать от бурлацких замашек?
Звенят небеса высоко.
На свете совсем не осталось ромашек
и синих, как сон, васильков.

Отдай мою землю с дождем и рябиной,
верни мне березы в снегу.
Я в желтые рощи ушел бы с любимой,
да много пройти не смогу.

Лишь воздух полуночи — мой собеседник.
Сосняк не во сне ли возник?
Там серый песок, там чебрец и бессмертник,
там дикие звезды гвоздик.

Бросается в берег русалочья брага.
Там солнышком воздух согрет.
И сердце не помнит ни худа, ни блага,
ни школьных, ни лагерных лет.

И Вечность вовек не взойдет семицветьем
в загробной безрадостной мгле.
И я не рожден в девятьсот двадцать третьем,
а вечно живу на земле.

Я выменял память о дате и годе
на звон в поднебесной листве.
Не дяди и тети, а Данте и Гете
со мной в непробудном родстве.

* *
*

С Украиной в крови я живу на земле Украины,
и хоть русским зовусь, потому что по-русски пишу,
на лугах доброты, что ее тополями хранимы,
место есть моему шалашу.

Что мне север с тайгой? Что мне юг с наготою
нагорий?
Помолюсь облакам, чтобы дождик прошел полосой.
Одуванчик мне брат, а еще молочай и цикорий,
сердце радо ромашке простой.

На исходе тропы, в чернокнижье болот проторенной,
древокрылое диво увидеть очам довелось:
богом по лугу плыл окрыленный могучей короной
впопыхах неосознанный лось.

А когда, утомленный, просил: приласкай и порадуй,—
обнимала зарей и к ногам простирала пруды,
и ложилась травой, и дарила блаженной прохладой
от источника Сковороды.

Вся б история наша сложилась мудрей и бескровней,
если б город престольный, лучась красотой и добром,
не на Севере хмуром вздымал золоченые кровли,
а над вольным и щедрым Днепром.

О земля Кобзаря, я в закате твоем, как в оправе,
на степную полынь с тополиных страниц обронен.
Пойте всю мою ночь, пойте весело, пойте о славе,
соловьи запорожских времен.

ПУТЕШЕСТВИЕ К ГОГОЛЮ

1

Как утешительно-тиха
и как улыбчиво-лукава
в лугов зеленые меха
лицом склоненная Полтава.

Как одеяния чисты,
как ясен свет, как звон негулок,
как вся для медленных прогулок,
а не для бешеной езды.

Здесь Божья слава сердцу зрима.
Я с ветром вею, с Ворсклой льюсь.
Отсюда Гоголь видел Русь,
а уж потом смотрел из Рима.

Уж вот не думал, не гадал,
что обрету при жизни город,
которым утолю свой голод —
души весенний снеготал.

Хоть в пенье радужных керамик,
в раю лошадок и цветов
остаться сердцем не готов
у старых лип усталый странник,

но так нежна сия земля
и так добра сия десница,
что мне до смерти будут сниться
Полтава, полдень, тополя.

Край небылиц, чей так целебен,
спасенный чудом от обнов,

реки, деревьев и домов
под небо льющийся молебен.

Здесь сердце Гоголем полно
и вслед за ним летит по склонам,
где желтым, розовым, зеленым
шуршит волшебное панно.

Для слуха рай и рай для глаза,
откуда наш провинциал,
напрягшись, вовремя попал
на праздник русского рассказа.

Не впрок пойдет ему отъезд
из вольнопесенных раздолий:
сперва — венец и Капитолий,
а там — безумие и крест.

Печаль полуночной чеканки
коснется дикого чела.
Одна утеха — Вечера
на хуторе возле Диканьки.

Немилый край, недобрый час,
на людях рожи нелюдские...
И Пушкин молвит, омрачась:
«О Боже, как грустна Россия»...

Пора укладывать багаж.
Трубит и скачет Медный Всадник
по душу барда, а пока ж
он пасечник, и солнце — в садик.

И я там был, и я там пил
меда, текущие по хвое,
где об утраченном покое
поет украинский ампир.

2

А вдали от Полтавы, весельем забыт,
где ночные деревья угрюмы и шатки,
бедный, бедный андреевский Гоголь сидит
на Собачьей площадке.

Я за душу его всей душой помолюсь
под домашней листвой тополей и шелковиц,
но зовет его вечно Великая Русь
от родимых околиц.

И зачем он на вечные веки ушел
за жестокой звездой окаянной дорогой
из веселых и тихих черешневых сел,
с Украины далекой?

В гефсиманскую ночь не моли, не проси:
«Да минует меня эта жгучая чара».
Никакие края не дарили Руси
драгоценнее дара.

То в единственный раз через тысячу лет
на серебряных крыльях ночных вдохновений
в злую высь воспарил —
не писательский, нет —
мифотворческий гений.

Каждый раз мы приходим к нему на поклон,
как приедем в столицу всемирной державы,
где он сиднем сидит и пугает ворон
далеко от Полтавы.

Опаленному болью ему одному
не обидно ль, не холодно ль, не одиноко ль?
Я, как ласточку, сердце его подниму,
Вы послушайте, Гоголь.

У любимой в ладонях из Ворсклы вода.
Улыбнитесь, попейте-ка самую малость.
Мы оттуда, где, ветрена и молода,
Ваша речь начиналась.

Кони ждут. Колокольчик дрожит под дугой.
Разбегаются люди — смешные козявки.
Сам Сервантес Вас за руку взял, а другой
Вы касаетесь Кафки.

Вон Италию видно. И Волга видна.
И летит наша тройка по утренней рани.
Кони жаркие ржут. Плачет мать. И струна
зазвенела в тумане...

Он ни слова в ответ, ни жилец, ни мертвец,
только тень наклонилась, горька и горбата,
словно с милой Диканьки повеял чебрец,
и дошло до Арбата...

За обвитое терньями сердце волхва,
за тоску, от которой вас Боже избави,
до полынной земли, Петербург и Москва,
поклонитесь Полтаве.

КИЕВ

Ю. Шанину

Без киевского братства
деревьев и церквей
вся жизнь была б гораздо
безродней и мертвей.

В лицо моей царевне,
когда настал черед,
подуло Русью древней
от Золотых ворот.

Здесь дух высок и весок,
и пусть молчат слова:
от врубелевских фресок
светлеет голова.

Идем на зелен берег
над бездной ветряной
дышать в его пещерах
святою стариной.

И юн и древен Киев —
воитель и монах,
смоловший всех батыев
на звонких жерновах.

Таится его норов
в беспамятстве годов,
он светел от соборов
и темен от садов.

Еще он ал от маков,
тюльпанов и гвоздик,—

и Михаил Булгаков
в нем запросто возник.

И, радуясь по-детски,
что домик удался,
строитель Городецкий
в нем делал чудеса...

Весь этот дивный ворох,
стоцветен и стокрыл,
веселый друг филолог
нам яростно дарил.

Брат эллинов и римлян,
античности знаток,—
а Киев был им привран,
как водится, чуток.

Я в том не вижу худа,
не мыслю в том вины,
раз в киевское чудо
все души влюблены.

Ведь, если разобраться,
все было бы не так
без киевского братства
ученых и бродяг.

Нас всех не станет вскоре,
как не было вчера,
но вечно будут зори
над кручами Днепра.

И даль бела, как лебедь,
и, далью той дыша,
не может светлой не быть
славянская душа.

НА СМЕРТЬ ЗНАКОМОЙ СОБАЧКИ ПИФЫ

Принесли в конверте
мизерную весть,
и о малой смерти
мне пришлось прочесть.

Умерла собачка —
не велик урон:
без печали спячка,
пища для ворон...

От какого тифа,
от какой беды
забежала Пифа
в горние сады?

Шерстяная, шустрая...
Горя не смирю,
и, как равный, чувствуя,
с равной говорю.

И в любви, и в робости
я тебе под стать
и хочу подробности
про беду узнать.

Ты была хорошею,
как свеча во мгле,
озорной порошею
стлалась по земле.

В человечьей гадости
лап не замарав,
от собачьей радости
проявляла нрав.

Дай мне лапы добрые
и не будь робка,
вся ты наподобие
светлого клубка...

Если стать на корточки,
разлохматить прядь,
все равно на мордочке
дум не разобрать.

На кого надеяться?
Разлеглась, как пласт,
не облает деревца,
лапки не подаст.

Бедный носик замшевый,
глазоньки в шерсти,—
ах вы, люди, как же вы
не могли спасти?

Злые волки живы,
нет беды на злых,
а веселой Пифы
больше нет в живых...

Умерла собачка,—
не велик урон,—
так возьми заплачь-ка,
что и мы умрем.

Только я, счастливый,
мысль одну храню:
повстречаться с Пифой
в неземном краю.

Я присел на корточки,
чтобы в мире том
до лохматой мордочки
дотянуться лбом.

ТАЛЛИНН

У Бога в каменной шкатулке
есть город темной штукатурки,
испорошившейся на треть,
где я свое оставил сердце
не подышать и насмотреться,
а полюбить и умереть.

Войдя в него, поймете сами,
что эти башенки тесали
для жизни, а не красоты.
Для жизни — рынка заварушка,
и конной мельницы вертушка,
и веры тонкие кресты.

С блаженно-нежною усмешкой
я шел за юной белоснежкой,
былые горести забыв.
Как зябли милые запястья,
когда наслал на нас ненастье
свинцово-пепельный залив.

Но доброе Средневековье
дарило путников любовью,
как чудотворец и поэт.
Его за скудость шельмовали,
а все ж лошадки жерновами
мололи суету сует...

У Бога в каменной шкатулке
есть жестяные переулки,

домов ореховый раскол
в натеках смол и стеарина,
и шпиль на ратуше старинной,
где Томас лапушки развел.

За огневыми витражами
пылинки жаркие дрожали
и пел о вечности орган.
О город готики Господней,
в моей безбожной преисподней
меня твой облик настигал.

Наверно, я сентиментален.
Я так хочу вернуться в Таллинн
и лечь у вышгородских стен.
Там доброе Средневековье
колдует людям на здоровье
и дух не алчет перемен.

ФЕЛИКСУ КРИВИНУ

Я не пойму, где свет, где тьма,
не разберу, где мак, где вереск,
уж если вы, тишайший Феликс,
хлебнули горя от ума.

Дойдет ли до Карпат ущельных
дрожанье дружеских сердец
за Вас, застенчивый мудрец,
людей жалеющий волшебник,

циклоп и цыган злой поры,
чьи россказни на черном рынке,
как Солженицына и Рильке,
рвут у барыг из-под полы?

Немалый срок с тех пор протек,
как мы нагрянули в Мукачев,
своим визитом озадачив
гостеприимный городок.

Дойдет ли до Карпат ущельных
биенье любящих сердец
за Вас, застенчивый мудрец
и непоседливый отшельник,

кто, в человечности упрям,
там столько лет живет, как Пимен,
где от костров пахучих дымен
древесный воздух по утрам?

Нас тучи холодом кропят.
Так не пора ли нам обняться,
чтобы обнявшимся остаться
на светлом донышке Карпат?

ЛЬВОВ

И статуи владык — и статуи Христа,
в сверкании колонн поникшие по нишам...
Не зря ты город львов. Твой лик жесток
и пышен.
Грозны твои кресты. Державна красота.

И людно, и светло — а я один в тоске, вишь.
Мир весел и могуч — а я грущу по нем...
Да брось ты свой венок, дай боль твою,
Мицкевич,
неужто мы с тобой друг друга не поймем?

О бедный город лир, на что мне твой обман?
Враждебной красотой зачем ты нас морочишь?
Я верен нищете прадедовских урочищ.
Мне жаль твоей судьбы, ясновельможный пан.

Ты был милей в те дни, когда ты был горбат
и менее богат, но более духовен.
Есть много доброты в тиши твоих часовен.
Лесисты и свежи отрожия Карпат.

По бунтам и балам, смеясь, пропрыгал юность,
сто лет сходил с ума по дьявольским губам,—
и бронзовый Исус уселся, пригорюнясь,
жалеть, а не судить поверивших в обман.

Как горестно смотреть на кровли городские.
Я дань твоим ночам не заплачу ничем.
Ты милостив и горд. На что тебе Россия?
Зачем ты нам такой? И мы тебе зачем?

Твои века молчат. Что знаю я, прохожий,
про боль твоих камней, случайный и немой?
Лишь помню, как сквозь сон, что был один
похожий,
на косточках людских парящий над Невой.

Так стой, разиня рот, молчи, глазами хлопай...
Нам все чужое здесь — и камни, и листва.
Мы в мире сироты. И нет у нас родства
с надменной, набожной и денежной Европой.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ТРИФОНОВИЧА ТВАРДОВСКОГО

Вошло в закон, что на Руси
при жизни нет житья поэтам:
о чем другом, но не об этом
у черта за душу проси.

Но чуть взлетит на волю дух,
низлягут рученьки в черниле,—
уж их по-царски хоронили,
за исключеньем первых двух.

Из вьюг, из терний, из оков,
из рук недобрых, мук немалых
народ над миром поднимал их
и бережно, и высоко.

Из лучших лучшие слова
он находил про опочивших,
чтоб у девчонок и мальчишек
сто лет кружилась голова.

На что был загнан Пастернак,
тихоня, бука, нечестивец,
а все ж бессмертью причастились
и на его похоронах...

Иной венец, иную честь,
Твардовский, сам себе избрал ты,

затем чтоб нам хоть слово правды
по-русски выпало прочесть.

Узнал, сердечный, каковы
плоды, что муза пожинала.
Еще лады, что без журнала,—
другой уйдет без головы.

Ты слег, о чуде не моля,
за все свершенное в ответе.
О, есть ли где-нибудь на свете
Россия, родина моя?

И если жив еще народ,
то почему его не слышно?
И почему во лжи облыжной
молчит, дерьма набравши в рот?

Ведь одного его любя
превыше всяких мер и правил,
ты в рифмы Теркина оправил,
как сердце вынул из себя.

И в зимний пасмурный денек,
устав от жизни многотрудной,
лежишь на тризне малолюдной,
как жил при жизни, одинок...

Бесстыдство смотрит с торжеством.
Земля твой прах сыновний примет.
А там Маршак тебя обнимет.
«Голубчик,— скажет,— с Рождеством».

До кома в горле жаль того нам,
кто был эпохи эталоном,
и вот — унижен, слеп и наг —
лежал в гробу при орденах,

но с голодом неутоленным,—
на отпеванье потаенном,
куда пускали по талонам,
на воровских похоронах.

* *
*

Деревья бедные, зимою черно-голой
что снится вам на городском асфальте?
Сквозь сон услышьте добрые глаголы.
Моим ночам свою беду оставьте.

Взмахнув ветвями, сделайтесь крылаты,
летите в Крым, где хорошо и южно,
где — только жаль, что не с моей зарплаты,
а то и нам погреться было б нужно.

Морозы русские, вы злее, чем монголы,
корней не рушьте, сквозь кору не жальте.
Что может сниться нам зимою черно-голой,
деревья бедные на городском асфальте?

ХЕРСОНЕС

Какой меня ветер занес в Херсонес?
На многое пала завеса,
но греческой глины могучий замес
удался во славу Зевеса.

Кузнечики славы обжили полынь,
и здесь не заплачут по стуже,
кто полон видений бесстыжих богинь
и верен печали пастушьей.

А нас к этим скалам прибила тоска,
трубила бессонница хрипло,
но здешняя глина настолько вязка,
что к ней наше горе прилипло.

Нам город явился из царства цикад,
из желтой ракушечной пыли,
чтоб мы в нем, как в детстве, брели наугад
и нежно друг друга любили...

Подводные травы хранят в себе йод,
упавшие храмы не хмуры,
и лира у моря для мудрых поет
про гибель великой культуры...

В изысканной бухте кончалась одна
из сказок Троянского цикла.
И сладкие руки ласкала волна,
как той, что из пены возникла.

И в прахе отрытом всё виделись мне
дворы с миндалем и сиренью.
Давай же учиться у желтых камней
молчанью мечты и смиренью.

Да будут нам сниться воскресные сны
про край, чья душа синеока,
где днища давилен незримо красны
от гроздей истлевшего сока.

С. СЛАВИЧУ

Живет себе в Ялте прозаик,
сутулый и рыжий на вид.
Ему бы про рыб да про чаек,
а он про беду норовит.

Да это ж мучение просто,
как весь он тревогой набряк,
худущий, длиннющего роста,
смешной и печальный добряк.

Приучен войной к просторечью,
к тяжелым и личным словам,
он все про тоску человечью,
про судьбы солдатские вам.

Есть чудо — телесная мякоть
рассказа, где с первой строки
ты будешь смеяться и плакать
и молча сжимать кулаки.

И с верой дурацкой прощаться,
и пить из отравленных чаш,—
и к этому чуду причастен
прозаик чахоточный наш.

Он в Ялту приехал с морозца,
он к морю пришел наугад,—
удача ему не смеется,
печатать его не хотят.

Я с ним не живал по соседству
и чем бы порадовать смог
за то, что пришелся по сердцу
его невозвышенный слог?..

Мудрец о судьбе не хлопочет,
не ищет напрасных забот,
ни сам продаваться не хочет,
ни в спорах ума не пропьет.

Жена у него и сынишка,
а он свои повести — в стол
до лучшего часа и, слышь-ка,
опять с рыбаками ушел.

Он ходит по Крыму, прослыв там
у дельных людей чудаком,
не то доморощенным Свифтом,
не то за душой ходоком.

Житье непутевое это
пришлось бы и мне по плечу,
да темной судьбою поэта
меняться ни с кем не хочу.

СУДАКСКИЕ ЭЛЕГИИ

1

Когда мы устанем от пыли и прозы,
пожалуй, поедем в Судак.
Какие огромные белые розы
там светят в садах.

Деревня — жаровня. А что там акаций!
Каменья, маслины, осот...
Кто станет от солнца степей домогаться
надменных красот?

Был некогда город алчбы и торговли
со стражей у гордых ворот,—
но где его стены и где его кровли?
И где его род?

Лишь дикой природы пустынный кусочек,
смолистый и выжженный рай.
От судей и зодчих остался песочек —
лежи, загорай.

Чу, скачут дельфины! Вот бестии. Ух ты,
как пляшут! А кто ж музыкант?
То розовым заревом в синие бухты
смеется закат.

На лицах собачек, лохматых и добрых,
веселый и мирный оскал,
и щелкают травы на каменных ребрах
у скаредных скал.

А под вечер ласточки вьются на мысе
и пахнет полынь, как печаль.
Там чертовы кручи, там грозные выси
и кроткая даль.

Мать Вечность царит над нагим побережьем
и солью горчит на устах,
и дремлет на скалах, с которых приезжим
сорваться — пустяк.

Одним лишь изъяном там жребий плачевен,
и нервы катают желвак:
в том нищем раю не хватает харчевен
и с книгами — швах.

На скалах узорный оплот генуэзцев,
тишайшее море у ног,
да только в том месте я долго наесться,
голодный, не мог.

А все ж, отвергая житейскую нехоть,—
такой уж я сроду чудак,—
отвечу, как спросят: «Куда нам поехать?» —
«Езжайте в Судак».

2

Настой на снах в пустынном Судаке...
Мне с той землей не быть накоротке,
она любима, но не богоданна.
Алчак-Кая, Солхат, Бахчисарай...
Я понял там, чем стал Господен рай
после изгнанья Евы и Адама.

Как непристойно Крыму без татар.
Шашлычных углей лакомый угар,
заросших кладбищ надписи резные,
облезлый ослик, движущий арбу,
верблюжесть гор с кустами на горбу,
и все кругом — такая не Россия.

Я проходил по выжженным степям
и припадал к возвышенным стопам
кремнистых чудищ, див кудлатоспинных.
Везде, как воздух, чудился Восток —
пастух без стада, светел и жесток,
одетый в рвань, но с посохом в рубинах.

Который раз, не ведая зачем,
я поднимался лесом на Перчем,
где прах мечей в скупые недра вложен,
где с высоты Георгия монах
смотрел на горы в складках и тенях,
что рисовал Максимильян Волошин.

Буддийский поп, украинский паныч,
в Москве француз, во Франции москвич,

на стержне жизни мастер на все руки,
он свил гнездо в трагическом Крыму,
чтоб днем и ночью сердце рвал ему
стоперстый вопль окаменелой муки.

На облаках бы — в синий Коктебель.
Да у меня в России колыбель,
и не дано родиться по заказу,
и не пойму, хотя и не кляну,
зачем я эту горькую страну
ношу в крови, как сладкую заразу.

О, нет беды кромешней и черней,
когда надежда сыплется с корней
в соленый сахар мраморных расселин.
И только сердцу снится по утрам
угрюмый мыс, как бы индийский храм,
слетающий в голубизну и зелень...

Когда, устав от жизни деловой,
упав на стол дурною головой,
забьюсь с питвом в какой-нибудь
клоповник,—
да озарит печаль моих поэм
полынный свет, покинутый Эдем —
над синим морем розовый шиповник.

ДЕЛЬФИНЬЯ ЭЛЕГИЯ

Как будто бы во сне повинном,
что не со всяким может статься,
я чувствую себя дельфином
на Карадагской биостанции.

Зачем я дался людям глупым
и почему, хоть в скалах выбей,
мы то всего сильнее любим,
что нам приносит боль и гибель?

В бассейне замкнутом и душном,
где развернуться сердцу негде,
что́ в теле мне моем недужном
и в обреченном интеллекте?

Я разлучен с родимой бездной,
мне все враждебно и непрочно,
и надо мной не свод небесный,
а потолок цементно-блочный.

С тремя страдальцами другими,
утратив братьев и подругу,
плыву и прыгаю за ними
по кругу, Господи, по кругу!

Нас держат с котиками вместе,
и так расчетливо, и дико
на мне сбывается возмездье
за поведенье Моби Дика.

Во славу трубящей науке,
что дуракам сулит бессмертье,
сношу бессмысленные муки
и не прошу о милосердье.

Спасибо, брат старшой, спасибо!
дитя корысти и коррупций:
твоя мороженая рыба
не лезет в горло вольнолюбцу!

И вот — в пяти шагах от моря,
от неба синего, от рая —
я с неразумия и горя
никак не сдохну, умирая.

НА МОГИЛЕ ВОЛОШИНА

Я был на могиле поэта,
где духу никто не мешал,
в сиянии синего света,
на круче Кучук-Енишар.

В своем настоящем обличье
там с ветром парил исполин —
родня Леонардо да Винчи
и добрый вещун из былин.

Укрывшись от бурь и от толков
с наивной и мудрой мольбой,
он эти края для потомков
обжил и наполнил собой.

Гражданские грозы отринув,
язычески рыжебород,
увидел в девчонке — Марину
и благословил на полет.

Художник, пророк и бродяга,
незримой земли властелин,
у вскинутых скал Кара-Дага
со всеми свой рай разделил...

Со всей потаенной России
почтить его гордый покой
мерещились тени другие,
завидуя тризне такой.

Но пели усталые кости,
вбирая гремучий бальзам,
о том, что разъехались гости
и не было счастья друзьям.

На солнце кусты обгорели,
осенние бури лихи...
Не меркнут его акварели,
у сердца не молкнут стихи.

И я в этом царстве вулканьем,
с велением сердца в ладу,
ему на обветреный камень
угрюмые строки кладу.

Пожил богатырь, да поездил,
да дум передумал в тиши.
Превыше побед и поэзий
величие чистой души.

У туч оборвалась дорога.
Вернулся на берег Садко.
Как вовремя... Как одиноко...
Как ветрено... Как высоко...

МОЦАРТ

У моря ветер камни сыпал горсткой,
ракухи лускал.
Откуда Моцарт осенью приморской
на юге русском?

Он был, как свет, не ведавший обмана,
не знавший спеси.
А где еще и слушать «Дон Жуана»,
как не в Одессе?

Придет пора — и я тебе наскучу,
Господня шалость.
Здесь сто племен в одну свалилось кучу,
и все смешалось.

Под вольный шум отчаянного груза,
хвальбу и гогот
по образцам отверженного вкуса
схохмился город.

Сбегали к морю пушкинские строки,
овечьи тропы.
Лег на сухом и гулком солнцепеке
шматок Европы.

Здесь ни Растрелли не было, ни Росси,
но в этом тигле
бродяги мира в дань ребячьей грезе
Театр воздвигли.

Над ним громами небо колебалось,
трубили бури,
лишь Моцарт был, как ангел или парус,
дитя лазури.

Он шел, свистя, по пристаням, по дюнам,
с волшбой приятья,
и я не зря о Пушкине подумал:
они как братья.

Я рад ему в налитой Богом сини,
хотя, наверно,
играл оркестр и пели героини
довольно скверно.

Я б не хотел классичнее и строже,
и слава Богу,
что здесь блистают статуи и ложи,
как в ту эпоху.

Душе скитальца музыка желанна,
как сон о лесе,
а где еще и слушать «Дон Жуана»,
как не в Одессе?

Пусть стаи волн кусты и камни мочат,
и гаснут зори,
и чарам жизни радуется Моцарт
на Черном море.

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ГРИНА

Шесть русских прозаиков, которых
я взял бы с собой в мою пустыню,
это Гоголь, Толстой, Достоевский,
Пришвин, Чехов и Александр Грин.

Какой мне юный мир на старость лет подарен!
Кто хочешь, приходи — поделим пополам.
За верность детским снам, о, как я благодарен
Бегущей по волнам и Алым парусам.

На русском языке по милости аллаха
поведал нам о них в недавние лета
кабацкий бормотун, невдалый бедолага,
чья в эту землю плоть случайно пролита.

Суди меня, мой свет, своей ухмылкой темной,
жеватель редких книг по сто рублей за том,
мне снится в добрый час тот сказочник
бездомный,
небесную лазурь пронесший сквозь содом.

Мне в жизни нет житья без Александра Грина.
Он с луком уходил пасти голодный год
в языческую степь, где молочай и глина.
Его средь наших игр мутило от нагот.

По камушкам морским он радости учился,
весь застлан синевой. Уж ты ему прости,
что в жизни из него моряк не получился:
умевшему летать к чемушеньки грести?

Что не был он похож на доброго фламандца,
смакующего плоть в любезной духоте,
но замкнут и колюч,— куда ж ему равняться
в приятности души с Антошей Чехонте.

Упрямец и молчун угрюмо пил из чаши
и в толк никак не брал, почто мы так горды,—
как утренняя тень, он проходил сквозь наши
невнятные ему застолья и труды.

С прозрения по гроб он жаждал только чуда,
всю жизнь он прожил т а м и ни минуты
здесь,—
а нам и невдомек, что был он весь о т т у д а,—
младенческую боль мы приняли за спесь.

Ни родины не знал, ни в Индию не плавал,—
ну, лакомка, ну, враль, бродяга и алкаш,—
а ты игрушку ту, что нам подсунул дьявол,
рассудком назовешь и совесть ей отдашь.

А ты всю жизнь стоишь перед хамлом навытяж,
и в службе смысла нет, и совесть не грызет,
и жизнь пройдет как бред, а ты и не увидишь,
как солнышко твое зайдет за горизонт...

Наверно, не найти средь русских захолустий
отверженней глуши, чем тихий Старый Крым,
где он нашел приют своей нарядной грусти,
за что мы этот край ни капли не корим.

От бардов и проныр в такую даль заброшен,—
я помню как теперь,— изглодан нищетой,
идет он в Коктебель, а там живет Волошин,—
о, хоть бы звук один сберечь от встречи той...

Но если станет вдруг вам ваша жизнь полынна,
и век пахнет чужим, и кров ваш обречен,—
послушайте меня, перечитайте Грина,
вам нечего терять, не будьте дурачьем.

ЦЕРКОВЬ В КОЛОМЕНСКОМ

Все, что мечтала услышать душа
в всплеске колодезном,
вылилось в возгласе: «Как хороша
церковь в Коломенском!»

Здравствуй, царевна меж русских
церквей —
бронь от обидчиков!
Шумные лица бездушно мертвей
этих кирпичиков.

Сменой несметных ненастий и ведр
дышат, как дерево.
Как же ты мог, возвеличенный Петр,
съехать отселева?

Пей мою кровушку, пшикай в усы
зелием чертовым.
То-то ты смладу от Божьей красы
зенки отвертывал.

Божья краса в суете не видна.
С гари да с ветра я
вижу: стоит над Россией одна —
самая светлая.

Чашу страданий испивши до дна,
пальцем не двигая,
вижу: стоит над Россией одна —
самая тихая.

Кто ее строил? Пора далека.
Слава растерзана.
Помнишь, любимая? Лес да река —
вот она, здесь она.

В милой пустыне, вдали от людей
нет одиночества.
Светом сочится, зари золотей,
русское зодчество.

Гибли на плахе, катились на дно,
звали в тоске зарю,—
но не умели служить заодно
Богу и кесарю.

Стань над рекою, слова лепечи,
руки распахивай.
Сердцу неслышно журчат кирпичи
тихостью Баховой.

Это из злыдней, из смуты седой
прадеды вынесли
диво, созвучное Анне святой
в любящем Вильнюсе.

Полные света, стройны и тихи
чуда глашатаи,—
так вот должны воздвигаться стихи,
книги и статуи.

Грустно, любимая. Скоро конец
мукам и поискам.
Примем с отрадою тихий венец —
церковь в Коломенском.

СТИХИ О РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

1

Ни с врагом, ни с другом не лукавлю,
давний путь мой темен и грозов.
Я прошел по дереву и камню
повидавших виды городов.

Я дышал историей России.
Все листы в крови — куда ни глянь.
Грозный царь на кровли городские
простирает бешеную длань.

Клича смерть, опричники несутся.
Ветер крутит пыль и мечет прах.
Робкий свет пророков и безумцев
тихо каплет с виселиц и плах...

Но когда закручивался узел
и когда запенивался шквал,
Александр Сергеевич не трусил,
Николай Васильевич не лгал.

Меря жизнь гармонией небесной,
отрешась от лживой правоты,
не тужили бражники над бездной,
что не в срок их годы прожиты.

Не для славы жили, не для риска,
вольной правдой души утоля.
Тяжело Словесности Российской.
Хороши ее Учителя.

2

Пушкин, Лермонтов, Гоголь — благое начало,
соловьиная проза, пророческий стих.
Смотрит бедная Русь в золотые зерцала.
О, как ширится гул колокольный от них.

И основой святынь, и пределом заклятью
как возвышенно светит, как вольно звенит
торжествующий над бонапартовой ратью
Возрождения Русского мирный зенит.

Здесь любое словцо небывало значимо
и, как в тайне, безмерны, как в детстве, чисты,
осененные светом тройного зачина
наши веси и грады, кусты и кресты.

Там, за ними тремя, как за дымкой Пролога,
ветер, мука и даль со враждой и тоской,
русской Музы полет от Кольцова до Блока,
и ночной Достоевский, и всхожий Толстой.

Как вода по весне, разливается Повесть
и уносит пожитки, и славу, и хлам.
Безоглядная речь. Неподкупная совесть.
Мой таинственный Кремль.
Наш единственный храм.

О, какая пора б для души ни настала
и какая б судьба ни взошла на порог,
в мирозданье, где было такое начало —
Пушкин, Лермонтов, Гоголь,— там выживет Бог.

* *
*

До могилы Ахматовой сердцем дойти нелегко —
через славу и ложь, стороной то лесной, то овражной,
по наследью дождя, по тропе ненадежной и влажной,
где печаль сентябрей собирает в полях молоко.

На могиле Ахматовой надписи нет никакой.
Ты к подножью креста луговые цветы положила.
А лесная земля крестный сон красотой окружила,
подарила сестре безымянный и светлый покой.

Будь к могиле Ахматовой, финская осень, добра,
дай бездомной и т а м не отвыкнуть от гордых
привычек.
В роще дятлы стучат, и грохочет тоской электричек
город белых ночей — город Пушкина, город Петра.

Облака в вышине обрекают злотворцев ее
на презренье веков, и венчаньем святого елея
дышат сосны над ней, и светло и надменно белея,
вечно юн ее профиль, как вечно стихов бытие.

У могилы Ахматовой скорби расстаться пора
с горбоносой рабой. И не выдержав горней разлуки,
к ней в бессмертной любви протянул запоздалые руки
город черной беды — город Пушкина, город Петра.

ОДА ВОРОБЬЮ

Пока меня не сбили с толку,
презревши внешность, хвор и пьян,
питаю нежность к воробьям
за утреннюю свиристелку.
Здоров, приятель, чик-чирик!
Мне так приятен птичий лик.

Я сам, подобно воробью,
в зиме немилой охолонув,
зерно мечты клюю с балконов,
с прогретых кровель волю пью
и бьюсь на крылышках о воздух
во славу братиков безгнездых.

Стыжусь восторгов субъективных
от лебедей, от голубей.
Мне мил пройдоха-воробей,
пророков юркий собутыльник,
посадкам враг, палаткам друг,—
и прыгает на лапках двух.

Где холод бел, где лагерь был,
где застят крыльями засовы
орлы-стервятники да совы,
разобранные на гербы,—
а он и там себе с морозца
попрыгивает да смеется.

Шуми под окнами, зануда,
зови прохожих на концерт!..

А между тем, не так он сер,
как это кажется кому-то,
когда, из лужицы хлебнув,
к заре закидывает клюв.

На нем увидит, кто не слеп,
наряд изысканных расцветок.
Он солнце склевывает с веток,
с отшельниками делит хлеб
и, оставаясь шельма шельмой,
дарит нас радостью душевной.

А мы, бродяги, мы, пираты,—
и в нас воробышек шалит,
но служба души тяжелит,
и плохо то, что не пернаты.
Тоска жива, о воробьи,
кто скажет вам слова любви?

Кто сложит оду воробьям,
галдящим под любым окошком,
безродным псам, бездомным кошкам,
ромашкам пустырей и ям?
Поэты вымерли, как туры,—
и больше нет литературы.

ЧЕРНИГОВ

Воробьи умолки, прочирикав.
А про что? Наверно, про Чернигов —
монастырский, княжий, крепостной.
С этим — звездам впору целоваться.
Это — воздух древнего славянства.
Это — наше детство над Десной.

Нет еще московского Ивана,
и душе заветна и желанна
золотая русская пора.
Он стоит, не зная о Батые,
смотрят ввысь холмы его святые,
золотые реют купола.

Это после будет вор на воре,
а пока живем по вольной воле:
хошь молись, а хошь иди в кабак.
Ни опричнин нет, ни канцелярий,
но зато полно господних тварей,
особливо кошек и собак.

От земли веселия и лада
хорошо доплыть до Цареграда
и вкусить от грецкого ума,—
но нигде нет жен милей и кротче,
но хмельны таинственные рощи,
где гудут пчелиные дома.

Так живем в раденьях и забавах.
Шлют в наш Кремль послов своих лукавых
царь индийский да персидский шах.
Пишем во церквах святые лики,
и в Ерусалим идут калики,
и живут подвижники в лесах.

Тени душ витают на погосте,
и горят рябиновые грозди,
и течет под берегом река,
и покой от веры и полыни.
Никакой империи в помине.
Это просто Средние века.

Для того, чтоб речь была хорошей,
надо б горстку соли скоморошьей,
да боюсь пересолить в летах,
потому что — верьте иль не верьте —
будут жарить черти после смерти
скоморохов на сковородах.

И смотрю с холмов на храмы Божьи,
проклинаю все, что будет позже:
братний спор, монголов и Москву,—
и люблю до головокруженья
лепоту и мир богослуженья
и каштанов вещую листву.

* *
*

Ночью черниговской с гор араратских,
шерсткой ушей доставая до неба,
чад упасая от милостынь братских,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Плачет Господь с высоты осиянной.
Церкви горят золоченой известкой.
Меч навострил Святополк Окаянный.
Дышат убивцы за каждой березкой.

Еле касаясь камений Синая,
темного бора, воздушного хлеба,
беглою рысью, кормильцев спасая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Путают путь им лукавые черти.
Даль просыпается в россыпях солнца.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Мук не приявший вовек не спасется.

Киев поникнет, расплещется Волга,
глянет Царьград обреченно и слепо,
как от кровавых очей Святополка
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Смертынька ждет их на выжженных
пожнях,
нет им пристанища, будет им плохо,
коль не спасет их бездомный художник,
бражник и плужник по имени Леха.

Пусть же вершится веселое чудо,
служится красками звонкая треба,
в райские кущи от здешнего худа
скачут лошадки Бориса и Глеба.

Бог-вседержитель с лазоревой тверди
ласково стелет под ноженьки путь им.
Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти.
Чад убиенных волшбою разбудим.

Ныне и присно по кручам Синая,
по полю русскому в русское небо,
ни колоска под собой не сминая,
скачут лошадки Бориса и Глеба.

ПОСОШОК НА ДОРОЖКУ ЛЕШЕ ПУГАЧЕВУ

С дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай!
Кто знает, брат, когда еще
приду к тебе на чай.

Я ревновал тебя ко всем,
кому от щедрых крыл
ты, на похмелье окосев,
картиночки дарил.

А я и в праздничном хмелю,—
покличь меня, покличь,—
ни с кем другим не преломлю
коричневый кулич.

Твой путь воистину не плох,
тебе не пасть во тлен,
иконописец, скоморох,
расписыватель стен.

Еще и то дрожит в груди,
что среди прочих дел
по всей Россиюшке, поди,
стихи мои попел.

Тобой одним в краю отцов
мне красен гиблый край.
С дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай!

Нам люб в махорочном дыму
языческий обряд,
но, что любилось нам, тому
пиши пропало, брат.

Пиши пропало, старина,
мальчишеской стране,
где пела верная струна
о светлой старине.

Пиши пропало той поре,
когда с метельных троп,
едва стемнеет на дворе,
а мы уже тип-топ.

И прозревает глубина
сквозь заросли морщин,
когда за чарочкой вина
в обнимочку молчим.

За то, что чуешь Бога зов,
сквозь вой недобрых стай,
с дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай!..

Ты улыбнулся от души,
как свечечку зажег,—
и мы в ремесленной тиши
осушим посошок.

Хвала покинувшему брег,
чей в ночь уходит след,
кто сквозь отчаянье и грех
прозрел всевышний свет.

Еще немного побредем
неведомым путем,
а что останется потом —
не нам судить о том.

О нашей сладостной беде,
об удали в аду,
напишут вилы по воде
в двухтысячном году.

Но все забьет, в конце концов,
зеленый молочай...
С дорогой, Леша Пугачев,
и здравствуй, и прощай!

ЭЛЕГИЯ О СТАРОМ ДИВАНЕ

И все-таки стенам, пожалуй, когда-нибудь рухнуть.
О век мимолетный, безжалостный и деловой!
Из нового дома выносится старая рухлядь
и в холод бездомья уходит бедняк домовой.

Смешной старикашка, он так шкандыбает, сутулясь,
и шепчет проклятья, и прячет отчаянный взгляд
от страшного мира, где режут беспомощных куриц
и желтые листья в полночные лужи летят.

О старом диване никто и словечка не скажет,
случайно достался и, в общем, совсем не кровать,
он с детством не связан, стараньями предков не нажит,
и вид затрапезен, и не о чем зря горевать.

О, как он был жёсток, неласковым хребием выпав,
к нему привыкали, почти что не чувствуя ног,
но чье-то дыханье с его полусонных прогибов
летело по небу на чей-то безумный звонок.

На нем раскрывалась ромашка младенческой позы
и тот полуночник, бывало, подремывал днем.
Он знает все тайны, он помнит молитвы и слезы,
но вот незадача — клопы обнаружились в нем.

И он обречен, а на новом, должно быть, уютней.
Зайдем и заплатим — и время бежать по делам.
Поминок не будет, не слышно органа и лютни,
в шумливом безмолвье уносится старый диван.

А близится осень, и капли шумят дождевые,
и в нежном сиянье бездомная горечь листвы.
Простите, простите, простите меня, домовые,
я тоже — давно уж — собрался в дорогу, как вы.

О мир этот камен, и милых не губ ведь, не рук ведь,
и ветры смеются над бренной диванной душой.
О грусть домового! О бедная старая рухлядь,
на коей — о счастье! — разляжется кто-то чужой!

О мир этот камен, и, правду сказать, не в бреду ль я
с домашней заботой мешаю небесную высь,
и некому плакать, за вычетом Бога и дурня,
о старом диване, в котором клопы завелись.

* *
*

Как страшно в субботу ходить на работу,
в прилежные игры согбенно играться
и знать, на собраньях смиряя зевоту,
что в тягость душа нам и радостно рабство.

Как страшно, что ложь стала воздухом нашим,
которым мы дышим до смертного часа,
а правду услышим — руками замашем,
что нет у нас Бога, коль имя нам масса.

Как страшно смотреть в пустоглазые рожи.
На улицах наших как страшно сегодня.
Как страшно, что чем за нас платят дороже,
тем дни наши суетней и безысходней.

Как страшно, что все мы, хотя и подстражно,
пьянчуги и воры — и так нам и надо.
Как страшно друг с другом встречаться.
Как страшно
с травою и небом вражды и разлада.

Как страшно, поверив, что совесть убита,
блаженно вкушать ядовитые брашна
и всуе вымаливать чуда у быта.
А самое страшное — то, что не страшно.

* *
*

Покамест есть охота,
покуда есть друзья,
давайте делать что-то,
иначе жить нельзя.

Ни смысла и ни лада,
и дни — как решето,—
и что-то делать надо,
хоть неизвестно что.

Ведь срок летуч и краток,
вся жизнь — в одной горсти,—
так надобно ж в порядок
хоть душу привести.

Давайте что-то делать,
чтоб духу не пропасть,
чтоб не глумилась челядь
и не кичилась власть.

Никто из нас не рыцарь,
не праведник челом,
но можно ли мириться
с неправдою и злом?

Давайте делать что-то,
и, черт нас подери,
поставим Дон Кихота
уму в поводыри.

Пусть наша плоть недужна
и безысходна тьма,
но что-то делать нужно,
чтоб не сойти с ума.

Уже и то отрада
у запертых ворот,
что все, чего не надо,
известно наперед.

Решай скорее, кто ты,
на чьей ты стороне,—
обрыдли анекдоты
с похмельем наравне.

Давайте что-то делать,
опомнимся потом,—
стихи мои, и те вот
об этом, об одном.

За Божий свет в ответе
мы все вину несем.
Неужто все на свете
окончится на сем?

Давайте ж делать то, что
Господь душе велел,
чтоб ей не стало тошно
от наших горьких дел!

* *
*

Я почуял беду — и проснулся от горя и смуты,
и заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу,
и не знаю, как быть, и, как годы, проходят минуты.
Ах, родные, родные, ну чем я вам всем помогу?

Хоть бы чуда занять у певучих и влюбчивых клавиш,
но не помнит уроков дурная моя голова,
а слова,— мы ж не дети,— словами беды не убавишь,
больше тысячи лет, как не Бог нам диктует слова.

О, как мучает мозг бытия неразумного скрежет,
как смертельно сосет пустота вседержавных высот!..
Век растленен и зол. И ничто на земле не утешит.
Бог не дрогнет на зов. И ничто в небесах не спасет.

И меня обижали — безвинно, взахлеб, не однажды,
и в моем черепке всем скорбям чернота возжена,
но дано, вместо счастья, мученье таинственной жажды,
и прозренья берез, и склоненных небес тишина.

И спасибо животным, деревьям, цветам и колосьям,
и смиренному Баху, чтоб нам через терньи за ним.
И прощенье врагам — не затем, чтобы сладко
спалось им,
а чтоб стать хоть на миг нам свободней и легче самим.

Еще смогут сто раз на позор и на ужас обречь нас,
но, чтоб крохотный светик в потемках сердец
не потух,
нам дает свой венок,— ничего не поделаешь,—
Вечность,
и все дальше ведет,— ничего не поделаешь,— Дух.

ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

А. Вернику

Во имя доброты — и больше ни во чье,
во имя добрых тайн и царственного лада,—
а больше ничего поэзии не надо,
а впрочем, пусть о том печется дурачье.

У прозы есть предел. Не глух я и не слеп,
и чту ее раскат и заревую залежь,
но лишь одной Душе — Поэзия одна лишь,
и лишь ее дары — всего насущный хлеб.

Дерзаешь ли целить гражданственный недуг,
поешь ли хрупких зорь престольные капризы
в текучем храме рек,— все это только ризы,
и горе, если в них не веет горний дух.

Как выбрать мед тоски из сатанинских сот
и ярость правоты из кротости Сократа,
разговорить звезду и на ладошку брата
свести ее озноб с Михайловских высот?

Когда, и для чего, и кем в нас заронен
дух внемлющей любви, дух стройности певучей?
Вся Африка — лишь сад возвышенных созвучий,
где рук не сводят с арф Давид и Соломон.

Прислушайся ж, мой брат, к сокрытой глубине,
пойми ее напев и облеки в глаголы.
Есть в мире мастера, течения и школы,
и все ж в них меньше чар, чем в хлебе и вине.

На ветрище времен обтреплется наряд,
и, если суть бедна, куда мы срам свой денем?
Не жалуйся на жизнь. Вся боль ее и темень —
ничто в сравненье с тем, что музы нам дарят.

Когда ж из бездны зол взойдет
твой званный час,
из скудости и лжи, негадан и неведом,
да возлетит твой стих, светясь глубинным
светом,
и не прельстится ум соблазном выкрутас.

Прозаик волен жить меж страхов и сует,
кумекать о добре и в рот смотреть кумиру,—
а нам любовь и гнев настраивают лиру.
Всяк день казним Исус. И брат ему — Поэт.

Лишь избранных Кресту Поэзия поит.
Так скорби не унизь до стона попрошаек,
и, если мнишь, что ты беднее, чем прозаик,
отважься перечесть Тарасов Заповіт.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

ЧИЧИБАБИН Борис Алексеевич

Мои шестидесятые

Стихотворения

Художник *В. А. Дубровский*
Художественный редактор *Г. Т. Консв*
Технический редактор *П. Д. Цуркан*
Корректор *Л. Н. Демченко*

ИБ № 4791

Сдано в набор 21.09.89.
Подписано в печать 27.10.89. БФ 37813.
Формат 70×100¹/₃₂.
Бумага типографская № 1.
Гарнитура академическая.
Печать высокая.
Усл. печ. л. 11,375. Усл. кр.-отт. 11,538
Уч.-изд. л. 8,46. Тираж 12 000 экз.
Заказ № 9—265. Цена 1 р.

Киев, издательство
художественной литературы
«Днипро».
252601, Киев-ГСП,
ул. Владимирская, 42.

Киевская книжная фабрика «Жовтень»
252053, Киев, ул. Артема, 25.

Чичибабин Б. А.

Ч-72 Мои шестидесятые : Стихотворения / Предисл. авт.— К.: Дніпро, 1990.— 278 с.
ISBN 5-308-00690-3

Жизненный и творческий путь поэта сложился очень нелегко: незаконный арест в послевоенные годы, затем — реабилитация, выход четырех самобытных сборников, за которые автор был принят в Союз писателей. Но — снова несправедливые обвинения и почти двадцатилетнее молчание... Ныне Борис Чичибабин восстановлен в творческом союзе литераторов, широко печатается в периодике. В нашем издании представлены его лучшие произведения 60—70-х годов.

Ч $\frac{4702010202—152}{М205(04)—90}$ 152.90 **ББК 84Р7-5**